Бенаквиста Тонино

Комедия неудачников



Посвящается Чезаре и Елене,
Джованни,
Кларе,
Анне,
Иоланде
и всем остальным

Итальянцы не путешествуют.

Они эмигрируют.

Паоло Конте

1

— Придешь обедать в воскресенье?

— Не смогу… Работа.

— Даже в воскресенье? Porca miseria![1]

Не люблю, когда он нервничает, наш патриарх. Но еще меньше люблю таскаться сюда в воскресенье, когда предместья словно оживают, особенно у входа в церковь или тотализатор. И то и другое я стараюсь обходить, с опасностью удлинить себе дорогу, но только бы не протягивать смущенно свою руку людям, которые знавали меня еще мальчишкой, а теперь задаются вопросом: преуспел ли я в жизни? Итальянцам всегда любопытно, что сталось с другими.

— Ладно, попробую заглянуть в воскресенье.

Отец качает головой, давая понять, что ему на это, в конце концов, наплевать. Вскоре ему предстоит уехать в санаторий — лечить свою ногу. На целый месяц, как и каждое лето. И он, понятно, хотел бы повидаться со мной еще разок до отъезда. Как и любой другой отец, впрочем.

Мать по обыкновению помалкивает. Но я-то знаю, что стоит мне переступить порог родительского дома, как она закричит сверху на всю улицу:

— Если будет холодно, включай отопление!

— Да, ма.

— И не очень-то шляйся по ресторанам там, в Париже! Если есть грязное белье, принеси в следующий раз.

— Да, ма.

— И поосторожнее вечером в метро.

— Да…

— И еще…

Что там «и еще» я уже не слышу, я за пределами досягаемости. На меня лает собака Пьянетты. Я сворачиваю на пологий спуск, что ведет к автобусу, автобус — к метро, а метро — ко мне домой. В Париж.

И вдруг здесь, наверху, у дома, с которого начинается наша улица, слышу голос, который пробуждает во мне воспоминания более реальные, чем любой запах.

— Проходишь мимо, будто чужой, Антонио…

Да я бы и не смог узнать его по запаху, теперь он благоухает дорогим одеколоном. Все-таки забавно вновь увидеть его здесь — такого же упрямого и неподатливого, как этот уличный фонарь, который он подпирает и который мы в детстве безуспешно пытались своротить ударами булыжников после уроков катехизиса.

— Дарио?.. — спрашиваю я, словно еще надеясь на что-то другое.

И как он только умудрился после стольких лет сохранить это лицо влюбленного ангела. Он даже похорошел. И кажется, вставил себе зубы, которых ему недоставало еще в восемнадцать лет.

— Твоя мать сказала, что ты иногда заходишь пообедать.

Мы обходимся без рукопожатия. Кстати, я даже не знаю, жива ли еще его собственная мать. Да и о чем, в сущности, могу я спросить его? Разве что о его собственных делах?

Почему бы и нет. Итак, Дарио… Как ты тут? Вот такой же… такой же… итальянец? Что у тебя еще спросишь…

Из всей нашей тогдашней компании он, Дарио Тренгони, был единственным, кто родился еще там, между Римом и Неаполем. Ни двое последних братьев Френчини, ни сын Куццо, ни я сам не могли этим похвастать. Мои родители, хоть и зачали меня, как и положено итальянцам, на юге, но только на юге Парижа. И даже тридцать лет спустя они так и не научились как следует изъясняться по-французски. Дарио Тренгони, впрочем, тоже. Но он-то делал это нарочно. И напрасно старалась коммуна Витри-сюр-Сен: школа, пособие, вид на жительство, социальное обеспечение — все впустую. Он к Франции как таковой не желал приобщаться, не желал вживаться в нее, и все тут. Он предпочитал развивать в себе именно все то, что я сам пытался изжить. И ему это удалось — он превратил себя в карикатуру на итальянца, в этакого «итальяшку», экспортного vitellone,[2] какого и в самой Италии еще надо поискать. Даже его старуха мать, лишившаяся корней уже в зрелом возрасте, и то гораздо лучше прижилась на земле, давшей нам приют.

— В Париже ты живешь?

Даже не знаю, что ответить, «в Париже я живу» или «живу я в Париже». Верно, в общем, и то и другое.

Молчание. Мне оно дается почти с трудом. А у него такой вид, будто мы дружно переживаем счастливую встречу после долгой разлуки.

— Помнишь Освальдо?

— Еще бы. Он… женился?

— Одно время даже в американцах ходил, там, в Калифорнии, ну, ты же знаешь… Назад вернулся, я его видел. Так он еще беднее нас с тобой! Затеял строить себе дом… Никогда ничего не видел дальше своего носа.

Сбежать уже не удастся. Не могу же я теперь вот так просто взять и уйти. А он, похоже, давно меня подстерегал. Наверняка. И эта встреча на обочине вовсе никакая не случайность. В прежние времена он мог целое утро прождать, пока кто-нибудь из нас не выйдет за хлебом. Да мы и сами всегда знали, где его найти, если скука донимала больше, чем обычно. Он был для нас как бы… дружком на подмену, в тех случаях, когда кто-то был занят или наказан. Освальдо, например, который стыдился своего имени — Освальдо. А этому Дарио, похоже, доставляет удовольствие знать, что старый приятель по гетто не слишком-то преуспел в жизни. А меня раздражает, что старые приятели по гетто ревнуют друг друга к крохам удачи, которые им перепали.

Дарио, с меня хватит, я не хочу пасть жертвой воспоминаний, от которых давным-давно постарался избавиться. Мне холодно торчать здесь, на ветру, в двух шагах от автобуса, шестого по меньшей мере, я считал. Сам-то ты разве стоишь больше, чем Освальдо? Ты, над которым весь квартал потешался, — красный платочек, рубаха, распахнутая на груди, крест наружу. Ты нашел наконец, на что купить себе костюмчики от Черутти да штиблеты от Гуччо — предмет твоих тогдашних мечтаний? Ты по-прежнему с легкостью падаешь на колени, стоит какой-нибудь девице пройти мимо тебя по улице? И ты все так же в любой момент готов затянуть песенку? И ты не перестал молиться на своего бога — Траволту?

Дарио Тренгони оставил мечты стать эстрадным певцом, я оставил квартал своего детства, и вот мы оба снова торчим здесь, под фонарем, на котором выцарапаны сердца и инициалы соседских девушек. Француженок. Из-под черной краски проглядывает грунтовка. Грязно-красная. Грязно-красные сердца.

Он угощает меня новым анекдотом, но, думаю, это его собственное сочинение. Причем если Дарио плохо говорит по-французски, то итальянским владеет не лучше. Раньше он изъяснялся на каком-то замысловатом наречии, которое способны были понять только мальчишки нашего квартала. Основа фразы — на римском диалекте, пара прилагательных из

жаргона «красных» предместий, кавычки португальские, запятые арабские плюс всякая прочая ерунда, прихваченная по случаю в рабочих поселках, частью изобретенная нами самими, частью позаимствованная из телика и комиксов. Тогда мне эта смесь представлялась неким тайным языком с привкусом кабалистики. Мне даже нравилась наша способность вдруг уединиться, изолироваться от всех прочих прямо посреди школьного двора. Но на сегодняшний день у него остался лишь родной диалект, еще и подпорченный убогим французским. Диалект — это чочаро — говорок большого римского предместья, язык фильмов Де Сики. Сам-то я все уже позабыл и больше на нем не говорю.

Подумать только, наши отцы проехали полторы тысячи километров ради того, чтобы сменить одно предместье на другое…

— Приятно было повидать тебя, Дарио… Но мне пора возвращаться…

— Ashpet'o! Ты можешь немного ashpetta, почему мне надо с тобой поговорить.

По-итальянски «почему» и «потому что» обозначаются одним и тем же словом. Если Дарио и случается употребить правильно грамматику, то обязательно не в том языке.

— Ты мне нужен, Анто, почему ты делал gli studi,[3] а я gli studi не делал. И ты ходил в большие школы там, в Париже. Ты ведь intelligento…

Плохо дело. Если уж Дарио называет меня умником, значит, точно за дурака держит. Да еще эти «большие школы». А было-то всего два одышливых курса на факультете, после которых я как миленький побежал на биржу труда. Так-то вот.

— Анто, ты должен мне написать красивое письмо, очень чисто.

— Куда?

— В Италию.

— У тебя там еще кто-то остался?

— Пара друзей.

— Ты же по-итальянски говоришь лучше меня. Я все уже позабыл, а твои друзья наверняка говорят на диалекте, а писать на диалекте — сущее мученье. Попроси лучше моего отца. А то старик что-то скучает, может, это его развлечет немного.

— Нельзя. Я уважаю lo Cezare, он спокойный, но я не хочу дать ему думать… и хуже. Я уже девять дней жду, когда ты пройдешь. Девять дней. Ты единственный, кого я могу попросить. L'unico.

Неопровержимый довод. Но я не слишком это ценю. Я не прочь быть для кого-то единственным, но вовсе не для типа, с которым, надеюсь, никогда больше не столкнусь. Хотя, если он ждал меня целых девять дней, это может означать, что я и впрямь такое редкое существо. Но это может означать также, что в этом деле нет и тени спешки.

— И о чем письмо?

— Бумага и конверт у меня есть, надо только марку купить в табачной лавке. Если хочешь, я тебе заплачу. По часам.

— О чем письмо-то?

— In mezzo alia strada?

Прямо посреди улицы? Ну да, в конце концов, он прав, мы действительно стоим посреди улицы, которая ведет к автобусной остановке и проходит также мимо табачной лавки. В жизни никогда больше не зайду в эту лавку. Но я знаю, что Дарио в нее еще заглядывает.

— Куда пойдем? — спрашиваю я.

— Только не ко мне. И не в al tabacchо, слишком много народу. Я сяду в автобус. Поедем к тебе, в Париж.

— Нет.

— No?

— В следующее воскресенье я опять приду.

— Слишком поздно. Писать надо прямо сейчас. А твоя мать говорит, что ты не приезжаешь, даже когда она готовит тальятелли. Я знаю, куда мы пойдем, в casal' diavolo.

Давненько я о нем не слыхал. Об этом «чертовом доме». А ведь это выражение наши матери употребляли всего лишь для того, чтобы сказать попросту: у черта на рогах, на краю света… Но итальянцы норовят понасовать домов всюду — даже в преисподнюю. Местный casa'l diavolo — это пустырь, настоящая свалка, какую только здесь еще и найдешь, загаженная пустошь позади судостроительного завода. Обширная площадка мусорных джунглей, которая раньше служила, да и все еще служит, кладбищем для бракованных катерных корпусов. Мечта Тарзана и капитана Флинта. Два вишневых деревца. Куст сирени. И запах синтетической смолы, стойко сохраняющийся в отбросах.

— Я тут весь перемажусь, — ворчу я, пролезая под проволочной сеткой.

Дарио не слышит, он следит за тем, чтобы нас никто не засек. Правда, уже не так, как раньше, когда напоминал шпиона-неудачника.

Мне некогда рассмотреть, многое ли тут изменилось. Хотя свалка, конечно, уже не та, что раньше. Дарио забирается вовнутрь катера-восьмиметровика, я следую за ним.

— Вот здесь можно пристроиться.

Он достает блокнот и шариковую ручку.

Ему и в голову не приходит, какое количество смолы пошло на эту восьмиметровую устрицу. Он забыл, что его собственный отец умер, вдоволь надышавшись за шестнадцать лет парами этой гадости, которые разъедают легкие. Мой-то сразу отказался от этой работы. Предпочел упаковывать готовые лодки, обкладывая их корпуса соломенными матами. Может, это напоминало ему пору жатвы. Теперь профсоюз добился, чтобы формовщикам предоставляли респираторы. Но в прежние времена их заставляли пить молоко, из расчета пакет в день на человека. Папаша Тренгони выдул его не одну цистерну, пытаясь справиться с ядовитыми испарениями.

Я и сам забыл про все это.

Дарио устраивается в рубке, где легко представить и штурвал, и радиопередатчик. Я — слева, куда долетает меньше пены. По левому борту.

— Письмо длинное?

— Не так чтобы очень… но все-таки. Тебе там удобно? Начни слева вверху… нет… немного выше… Оставляешь слишком много пустого… меньше надо. Вот так в самый раз… Сделай красивый завиток… Дорогая мадам Рафаэль… сверху, с красивым таким «Р».

— По-французски?

— Ну да.

— Ты же сказал, что это друзьям в Италию.

— Ну и что, это одной женщине, она тоже друг, — возразил он, смутившись, словно мальчишка. Впрочем, он и есть мальчишка.

Я отказываюсь понимать что-либо. Хотя зачем и стараться? Разве откажешь неграмотному, когда ему приспичило написать любовное письмо? Тут он прав, отец мой в таком деле был бы ему не помощник. К тому же если это действительно любовное письмо, то десяти дней ожидания и впрямь многовато. И очень даже возможно, что из всего окружения Дарио я единственное живое существо, которое твердо знает, где надо ставить многоточия в любовном письме, адресованном француженке.

— Ей там надо сказать, что я не все время говорил… это… bucia… la bucia?..

— Неправду?

— Точно. Скажи ей, что я иногда говорю правду, особенно в конце. Мы с самого начала встретились не случайно, я знал, что она и раньше много раз ходила в этот клуб одна. Ну, давай пиши.

Ты даже отчета себе не даешь, Дарио, в том, о чем просишь меня. Писать невесть что. Не зная ни сути этой истории, ни начала ее, ни конца.

— Пиши давай… Только хорошенько пиши, немного с этим… как его… un poco di cuore, andiamo… ну, ты понял…

Я начинаю писать. Синяя паста увлажняет кончик ручки.

— «Дорогая мадам Рафаэль, я не всегда был лжецом. Наша первая встреча была не случайной… «Так подойдет?

Он изучает написанное до мельчайшей черточки, словно опасаясь подвоха.

— Bene, bene, andiamo. О клубе не стоит. Вставь, что я благодарю ее за билет до Америки, и за деньги, и за все остальное.

— Так ты ездил в Штаты?

Он опускает глаза. Изучает кранец из пневморезины.

— Один раз, и все.

— Ты там работал?

— Пиши!

Я продолжаю, повторяя почти слово в слово основу его фразы и обрамляя ее более расплывчатыми выражениями. Но, кажется, моя версия его удовлетворяет.

— Напишешь потом, что я верну ей долг, как только смогу, и если будет время…

— Ты хочешь сказать, если ты «найдешь» время или если тебе «дадут» время?

— А это не все равно?

— Нет, конечно.

— Тогда пиши, что я сделаю это так быстро, как только будет возможно, но что другие, может быть, придут быстрее меня… Пиши. Она поймет… a menta sua… В своей голове.

Несколько помарок.

— Не обращай внимания, я потом перепишу.

Он чувствует, что я стараюсь. А я все больше и больше подтверждаю, что я действительно единственный.

— Скажи ей, что это пока не кончено. Что нужно верить в это… miracoli. И что lo miracolo si svolgera…

«Чудо произойдет…»

Лирика эстрадной песенки. Забавно. Наверняка выловил это у Джанни Моранди или у кого-нибудь в этом роде. Мне сдается, что я даже мелодию припоминаю.

— Это уже почти все, Анто. Давай теперь самое важное. Намекни ей, что… mia strada e longa… proprio longa… И что мы с ней найдем друг друга… a qualche parte della strada.

Тут я на секунду задумываюсь и снова закрываю ручку колпачком.

«Моя улица длинна, и мы там где-нибудь да встретимся…»

Я отказываюсь писать эту пошлятину. Всему есть предел. Мне просто страшно своей рукой начертать метафору, от которой заплачет и шариковая ручка. На этот раз нечто вроде речитатива Челентано.

— Что ты, собственно, хочешь этим сказать? Что дорога длинна… или… жизненный путь… даже не знаю. Жизненный путь или что-то в этом духе, да?

Он настороженно смотрит на меня.

— Ma sei pazzo? Ты что, дурак, Антонио? Я же тебе об улице говорю, о нашей улице, о той, что за твоей спиной, где ты родился, где все наши живут, твои старики, моя мать, — об улице Ансельм-Ронденей. В Витри-сюр-Сен. Вот ее-то в письмо и надо вставить!

— Ладно, не дергайся, а то брошу. А с чего ты взял, что она длинная? Сразу видно, что ты нигде, кроме нее, не бывал. Ты вообще уверен, что ездил в Штаты?

— Пиши давай, что тебе говорят. Про нашу улицу. Она почти самая длинная в мире. Давай… Ты ведь и сам, Анто, понял это, может, единственный во всем квартале. Потому и уехал отсюда. В Parigi. Давай напиши мне все это.

Ошеломленный, онемевший, готовый взорваться, я все-таки пишу, хотя перо едва осмеливается запечатлеть на белой бумаге простейшую из его фраз. Что уж она там вычитает, эта мадам Рафаэль… В четырех убогих словечках, за которые я даже не знаю, как взяться.

Пробую убедить себя, что это именно то самое послание, которое все поэты мира пытались прокричать на тысячах страниц в течение веков, собрав в последнем отчаянном усилии всю свою мудрость… А этот тупица, маленький невежественный итальяшка, хочет втолкнуть все это в каких-то четыре жалких словечка. Ишь ведь…

Моя улица длинна.

*****

Я протянул ему письмо. Он переписал его, прилежно, словно школьник, и довольно чисто, так, как и хотел. Потом забрал черновик без единого слова благодарности. Прежде чем засунуть письмо в конверт, он нацарапал на нем адрес, отодвинувшись от меня как можно дальше к правому борту.

— А теперь давай, Анто, садись на свой автобус. И никому об этом ни слова. Поклянись головой своей матери.

Я выпрыгнул наружу и угодил обеими ногами в какую-то лужу, где плавали куски обшивки. Прежде чем самому выбраться на улицу, Дарио подождал, пока я не удалюсь на изрядное расстояние.

— А ты, часом, не свалял дурака, Дарио?

Снизу мне была видна только его рука, цепляющаяся за релинг.

Я выбрался из этих джунглей, так и не услышав его ответа, который, впрочем, он и не собирался мне давать, и опять очутился на улице Ансельм-Ронденей.

Взобравшись на откос, я снова увидел его, на этот раз почти в конце улицы. И всего-то каких-нибудь двести — двести пятьдесят метров. Домиков тридцать, мило сработанных на итальянский манер благодаря великому терпению и кирпичам, унесенным ночью со строек. На этой вот улице я и родился. Хочу я того или нет, но я родом отсюда.

Я не приеду сюда в воскресенье.

У Дарио Тренгони больше нет нужды просить меня о чем бы то ни было.

Я возвращаюсь домой.

В Париж. И дорога моя длинна.

2

Выйдя на свой балкон, я обшариваю взглядом окрестности, силясь рассмотреть сквозь лес антенн шпиль Нотр-Дам. Когда я сюда еще только-только вселялся, бывший жилец меня уверил, что как-то раз видел его в ясную погоду часов в десять утра. Я живу напротив «Салонов Ларош». Веселенькое местечко. Его снимают для буйных вечеринок — таких, на которых дым стоит столбом, в том числе валит из ушей соседей, и я, пожалуй, единственный

на этом берегу житель, который ни на что не жалуется. Я как раз собираюсь усесться на табурет, когда какая-то женщина с террасы напротив, видимо уборщица, пытается меня убедить этого не делать.

— Довольно неразумно, в вашем-то возрасте. А представьте, что тут летом будет твориться.

Услышав шуршание циновки у двери, сообразил, что принесли почту. Подождал, пока консьержка не удалится. И вот как раз в тот самый момент, когда я уже открывал дверь, зазвонил телефон. Но я все-таки успел заметить эту неподвижную штуковину — такую бело-черную, что она буквально ослепила меня, когда я собрался протянуть к ней руку.

Звонок настаивает.

На том конце провода — голос одной из моих сестер. Я назвал ее Кларой, но оказалось — Иоланда. Отец бы сказал — Анна. Один шанс из трех, что угадаешь, но почему-то всегда проигрываешь.

— Антуан… знаешь что?

— Умер кто-нибудь?

— Так ты уже знаешь?

Я прошу ее подождать минутку.

Сердце мое начинает бешено колотиться, и я иду к двери, чтобы поднять наконец с полу эту штуку с черной каймой. Внутри — мертвец, и мне достаточно лишь вскрыть конверт, чтобы обнаружить его имя. Я колебался еще секунду, держа телефонную трубку в одной руке и траурное извещение в другой. Услышать или прочесть? Наверняка и то и другое вызовет у меня тошноту, хотя я еще и не совсем понимаю почему.

Нет, неправда. Наоборот, слишком даже хорошо понимаю почему. Потому что мы с этим покойником уже умирали не одну тысячу раз на полях сражений и неизменно приканчивали друг друга, когда кавалерия не успевала прибыть вовремя. И еще мы с ним стрелялись на дуэли, с десяти шагов, по очереди. И после каждого удачного выстрела застывали секунды на три, прежде чем рухнуть на землю.

И ведь надо же такому случиться перед самым летом.

— Это Тренгони, — говорю я в трубку.

— Я вчера видела его мать, когда навещала родителей. Пойдешь на похороны? Она очень хотела, чтобы ты пришел, эта мамаша Тренгони.

— Зачем?

— Как это зачем? Ну и гад же ты, раз такое спрашиваешь! Вы же дружки с ним были, разве нет?

Потом она рассказала мне, как Дарио умер. Но я не захотел этому поверить. Друзья детства так не умирают. Друзья по вестернам тем более.

*

Мамаши, мамаши, целая уйма мамаш. Его собственная — рядом с могилой и священником, моя — на изрядном отдалении, следуя иерархии скорбей, а далее — все остальные со своими отпрысками или без оных. Отпрыски — парни по большей части. У меня впечатление, что я вновь перечитываю извещение: г-н и г-жа cost, cosa, coso, cosello, cosieri, cosatello и их дети.

Практически все собрались, кроме моего отца из-за его разболевшейся ноги. Как-то так получается, что мамаше Тренгони никуда не деться от этого кладбища — сначала муж, а потом вот и единственный сын. Теперь-то она наверняка задумается: а был ли их переезд во

Францию такой уж удачной затеей? Но насколько я ее знаю, она уже никогда не вернется назад, в деревню, и не оставит обоих своих мужчин без присмотра.

Мои сестры не явились, брат тоже. Собственно говоря, никто его не знал по-настоящему. Для всех в нашем квартале он был не более чем шутом гороховым, этакой местной достопримечательностью. И все наверняка думают, что я тут единственный, кто по праву занимает место в похоронной процессии. Раньше мы с Дарио, завидев гробы, которые несут на кладбище, убирались с глаз подальше, чтобы нахохотаться до упаду. Это же надо удумать такое — кладбище Прогресса! А его так назвали всего лишь потому, что оно расположено на улице Прогресса, которая отделяет микрорайон, застроенный многоэтажками с умеренной квартплатой. И с тем же названием.

У меня тут дед лежит на соседнем участке. Чтобы хоть как-то отвлечься от гнетущего молчания, отыскиваю глазами его крест из кованого железа, который отец привез с завода. У Дарио крест совсем простой — только имя да две даты. Пытаюсь выяснить, есть ли среди собравшихся незнакомые мне лица, и нахожу таких четыре-пять. С севера наплывают несколько тучек. Только дождя не хватало. И это лето.

Священник, похоже, заканчивает свою проповедь. Наступает весьма опасный момент, когда все присутствующие проходят мимо матери усопшего, самые опечаленные прижимают ее к своему сердцу, а самые вдохновенные произносят что-нибудь утешительное — о том мире, где мы живем, и о том, где будем. И конечно же, о том, откуда все мы родом. Отличная, хорошо прочувствованная чушь, которая, разумеется, никого не утешит. Но удержаться от нее трудно — слишком уж редко в этой дыре подворачивается случай потолковать о метафизике. Некоторые уже берутся за кропило, но меня интересуют другие, как раз те, кто не отваживается взять его в руки и остается стоять в сторонке, хотя и притащились чего-то ради на это кладбище Прогресса в самой глубине «красных» предместий. А мне-то самому идти кропить могилу или не идти? И что это за женщина слева от меня, с лицом, скрытым под вуалью? Как-то она чересчур сопит и шмыгает носом. Терпеть не могу этих демонстраций горя на южный лад. Чтобы плакать с таким пылом, на это, видимо, надо иметь право. А у нее к тому же имеются отличные природные данные для настоящей mater dolorosa.[4] Хотя, по правде сказать, я ее почти не вижу — ни глаз, ни ног. Но интуиция мне подсказывает, что эта дамочка плачет не совсем по-итальянски, а как бы это сказать… на правильном французском. Только вот из-за ладоней, прижатых к лицу, трудно разобрать, действительно она плачет или молится.

Дарио, а Дарио? Кто она такая, эта бабенка? Только не уверяй меня, что тебе удалось подцепить напоследок настоящую француженку, чтобы достойно завершить карьеру латинского любовника из субпрефектуры. Ты слышал, что священник только что говорил о тебе? О твоем жизнелюбии, о воспоминаниях, которые мы о тебе сохраним? Тебе-то самому все это не показалось вздором? Если хочешь, я тоже скажу сейчас надгробное слово. Так вот, Дарио, ты был всего лишь смазливый мальчишка, который только о том и мечтал, чтобы весь остальной мир эту смазливость заметил. Ты был слишком ленив, чтобы стать уголовником, но и чересчур горд, чтобы месить тесто для пиццы. Что в тебе вообще было хорошего? Прямо скажем, немного, если не считать некоторых светлых идей относительно того, чтобы попробовать как-нибудь… cavarcela, как ты это называл. Разгрести себе местечко под солнцем, выкопать норку на одного. Но только так, чтобы не копать. Что ж, сегодня это сделали для тебя другие, по крайней мере хоть в этом ты преуспел. Кстати, тот самый священник, который для тебя произнес сегодня все эти красивые слова, пал в свое время твоей первой жертвой. Тебе тогда и девяти еще не было. Липовые лотерейные билеты на благотворительной ярмарке. А денежки ты потом спустил на скачках. А кто помнит твой выход на радиоконкурсе в честь праздника Сирени? Ты шел тогда вторым, после какой-то самодеятельной группы. И как ты, положив руку на сердце, затянул эту старую штуку Боби Соло — una lacrima sul viso… Мой отец даже слезу пустил — так смеялся. А ты, звезда

эстрады, небось думал, что так и надо? Вот что ты оставил в нашей памяти — воспоминания о куче невероятных проделок, единственное достоинство которых состояло в том, что они не довели тебя до тюрьмы.

Но все это, конечно, не причина, чтобы вдруг оказаться здесь. Про твое письмо я не сказал никому, но и совсем забыть о нем мне не удается. Говорят, что ты умер от пули в голову и что тебя нашли на набережной Сены, у самой границы Иври. Думаешь, меня это удивило? Мне трудно допустить, что ты не сделал еще какую-то большую глупость, — я помню о тех, которые ты вынудил меня написать. Не могу запретить себе думать, что ты, может быть, даже заслужил ее, эту пулю, как ранее заслужил все полученные тобой затрещины, когда был еще пацаном. И кстати, что это были за деньги, которые ты собирался вернуть, «если тебе оставят время»? Что это? Обещание выкинуть новый фокус, который заставил бы тебя повзрослеть в конце концов?

А вот эта женщина, слева от меня? Она плачет так, словно могла бы называться мадам Рафаэль. В ней, похоже, сокрыт источник всех тех слез, которые я даже не хотел искать. Да, наше горе не измерить одной меркой. Мое, признаться, вовсе не так уж глубоко.

Но я тут, оказывается, не один такой бесчувственный. Вот те два типа, что стоят от меня метрах в десяти, прислонившись к платану, один в куртке, другой даже без пиджака… Интуиция мне подсказывает, что никакая печаль их не гложет. Впрочем, сколько нас тут таких? От кропила я увернулся, но вот с мамашей Тренгони все-таки пришлось расцеловаться. Не то чтобы у меня было такое намерение, но я ведь, как-никак, ровесник ее дорогого сыночка, и я такой же черноглазый, и у меня такие же волосы и цвет лица… вот я и подумал, что она, быть может, захочет немного осушить свои слезы о мои щеки.

Она прижала меня к себе с такой силой, что я почувствовал себя заложником ее горя.



Остаток дня тянется ужасно долго. Моя мать, отказавшись дать какие бы то ни было разумные объяснения, дала мне четкий приказ: оставаться в квартале столько времени, сколько понадобится. Мой отец, не столь требовательный, тем не менее попросил меня сделать над собой это усилие. Я почувствовал, что дело принимает серьезный оборот, когда он оставил диалект и перешел на правильный итальянский — чистое и ясное тосканское наречие, к которому он прибегает лишь в самых что ни на есть серьезных случаях, оставляет крестьянский говорок, чтобы сделаться signore, то есть человеком, к чьим словам стоит прислушаться. В такие моменты ничто меня так не смущает, как эта его высокопарная грамматика. А его вежливое обращение в третьем лице попросту нагоняет страх. Чтобы умерить сердцебиение, мать варит нам по чашечке кофе-экспрессо, и он объясняет наконец, чего они все от меня ждут.

Оказывается, матушке Тренгони не дают спокойно погоревать. Полиция не очень-то хорошо представляет себе, как ей быть со старой, убитой горем женщиной, которая говорит только на жаргоне, невразумительном даже для «иностранцев», живущих чуть дальше броска камня от ее родной деревни. С тех пор как обнаружили тело, им еще ни разу не удалось допросить ее — стоило только завести об этом речь, как начиналась античная трагедия и они тонули по колено в слезах. Я попытался вообразить себе физиономии двух фараонов в схватке с толстой дамой, голосящей на неизвестном языке, которая наотрез отказывается взять в толк, что ее единственный сыночек скончался от пули в голову. Так вот, они нуждаются в переводчике, который к тому же хорошо знал бы покойного. Одним словом, им нужен идеальный собеседник… Разумеется, она могла назвать одно-единственное имя.

Дарио требовал от меня перевода туда, эти — обратно, а я до сих пор не знаю, как мне избавиться от языка, который давно стараюсь забыть. Никто даже не подозревает, до чего мне мучительно дается это жонглирование оттенками языка, который по-настоящему не внушает мне почтения. На французский — еще куда ни шло, но вот наоборот… Я еще способен преобразовать «E cosi sia» в «Значит, так», но вот обратно — на это у меня ушел бы не один час. И если я так избегаю переводов на итальянский, то только потому, что уже познал однажды эту Голгофу, эту муку крестную, доведенную до крайних пределов в онкологическом центре Постава Русси. Как-то раз, зайдя туда проведать одного своего приятеля, я на секунду остановился перед обращением к двуязычным франко-итальянцам выступить добровольцами ради блага сорока процентов больных со всех концов Апеннинского полуострова. Итальянцы, кстати, даже своим автомеханикам доверяют больше, чем врачам. По наивности я сказал себе, что раз уж я все равно сюда хожу, то заодно вполне мог бы принести пользу этим бедолагам, которые ни слова не понимают из ужасных откровений лекарей. Скромные, маленькие услуги, просто любезность, безо всяких последствий.

Пагубное заблуждение.

Весть обо мне разнеслась по всем этажам со скоростью воспламенения пороха. Я был нарасхват. Стали прибывать в креслах-каталках совершенно лысые женщины, либо одни, либо с совершенно лысыми же детьми, мужчины прямо с капельницами.

Они все прибывали и прибывали, эти эмигранты, от рака со своими «как», «почему» и «сколько времени». Лавина слов, шквал надежд, потоки тоски — и все это держится на тоненькой ниточке языка. Все они хватали меня, тормошили, каждый норовил рассказать свою историю, вынуждал срочно выслушать его исповедь. Пожалуй, я даже неплохо справлялся поначалу, и с моей помощью медсестры смогли ответить на первую волну простейших вопросов, касающихся палат, питания, больничного распорядка и заполнения бумаг. А потом какой-то врач попросил сходить с ним буквально на минутку в палату к одной больной, которую вчера прооперировали — удалили опухоль на лице. И вот тут узел на моей шее, пока еще не слишком тугой, затянулся в один миг. Что они там говорят про «опухоль»? Как, уже? Стоило мне только увидеть эту женщину с забинтованной головой, как я сразу понял, что самое страшное еще впереди. Перевод на итальянский. Лекарь просил меня объяснить больной — ни много ни мало, — как ей предстоит прожить оставшуюся жизнь. И уж тут не дай Бог ошибиться в прилагательном или употребить не то наречие; приходилось добиваться максимальной точности в языке, который для меня совсем не родной, и все ради того, чтобы передать леденящую безжалостность хирургических определений.

— Скажите ей, что операция прошла в целом удачно и что все больные клетки удалены.

Я, как могу, перевожу, она понимает, кивает головой. Делаю передышку.

— Скажите ей, что повязки снимут через несколько дней. Скажите ей также, что опухоль, к сожалению, оказалась гораздо значительнее, чем предполагалось, и что, даже несмотря на хорошую пластическую хирургию, все равно невозможно будет устранить эту впадину на ее левой щеке.

С того самого дня я окончательно распрощался с итальянским.

*

Белая рубашка, куртка — я не был удивлен, увидев их здесь, рассевшихся вокруг стола, покрытого желтоватой, испещренной ожогами от кофеварки клеенкой. Один из них, изучая почтовый календарь, лежащий на столе, отодвигает кончиками пальцев ветку, сохранившуюся с Вербного воскресенья и роняющую свои листья на март месяц. Старуха

тоже здесь, чуть поодаль, черная вуаль откинута со лба. Она настояла, чтобы я сел рядом с ней. Завладев моей рукой, она мусолит ее в своих, а оба инспектора прикидываются, будто находят это вполне естественным. Я им представился как старый приятель Дарио, и мы сошлись на том, что беседовать со старухой — дело нелегкое. Они поблагодарили меня за оказанную услугу, еще не задав ни единого вопроса. Впрочем, удивляться нечему — сыщики-то местные, из коммуны Витри-сюр-Сен, а тут тридцать пять тысяч эмигрантов, повсюду, и с подобными вещами полиция сталкивается каждый день. Оба сыщика скромные и понятливые, они заставили меня переводить вопросы простые и ясные, суть которых сводилась к одному: кто такой был Дарио? Портрет, который сегодня утром набросал с него наш священник, вряд ли особенно им пригодился. Их интересовали: род занятий, средства к существованию, связи, доходы. Старуха, естественно, почти ничего об этом не знала. В том-то и была загвоздка. Но он ведь жил здесь с вами? Ну да, он уходил утром, возвращался иногда вечером, и он никогда не делал ничего плохого. Я объяснил сыщикам, что если такая вот итальянская мамаша, la mamma, видит своего сыночка возвращающимся раньше полуночи, то для нее это верная гарантия его благонравия.

— Враги у него были?

— Aveva nemici?

— No! No!

Нервничая, я вытащил сигарету и схватил лежавшую на столе зажигалку из синей пластмассы.

После доброго часа этой незамысловатой игры в вопросы без ответов, легавый в куртке заскучал и как бы между делом вдруг перевел разговор на меня самого. Я уже рассказал о Дарио все, что знал, то есть очень мало в сущности, но при этом счел разумным опустить подробности нашей последней встречи и историю с письмом. Почему я это сделал? По двум причинам, весьма простым и весьма глупым: во-первых, я поклялся Дарио, и эта клятва заткнула мне рот до конца моих дней; а во-вторых, я опасался, что даже простое упоминание о каких-то деньгах, которые ему надо было срочно вернуть, и о мадам Рафаэль сделают из меня след номер один в их расследовании. А я, в общем-то, ничуть к этому не стремился.

— Она помнит вечер двадцать второго июля? Он ел что-нибудь дома? И в каком часу ушел?

Прежде чем ответить, она долго выжимала слезы из глаз. Да, она приготовила ужин, но Дарио к нему даже не притронулся и ушел около восьми вечера. Ушел, чтобы никогда уже больше не вернуться… Это все.

— Вы уверены, что он не прикоснулся к ужину? Что вы ему тогда приготовили?

Я нашел этот вопрос совершенно безобидным по сравнению с предыдущим.

— Pasta asciutta.

— Это макароны либо совсем, либо почти без соуса, — пояснил я.

Оба инспектора скептически переглянулись. Один из них сказал мне, что в таких случаях обязательно делается вскрытие. Судя по тому, что было обнаружено в желудке у Дарио, он за два часа перед смертью съел порцию макарон. И ничего другого. Я чуть было не спросил, каких именно, но вовремя сдержался, представив на мгновение ту клейкую массу, которую они там нашли.

— Конечно, он мог их съесть где-нибудь в другом месте, а вовсе не здесь. Там оказалась еще кукуруза и какая-то трава, скорее всего мята.

— И еще одуванчики, — добавил второй.

— Ну да, одуванчики. Еще бы! Это она и есть, ваша «паста шутта»? А? Спросите у нее, мог ли ее сын найти такое у них в холодильнике? Может, остаток чего-то там… или даже не знаю.

Когда я сказал ей о кукурузе, одуванчиках и мяте, старуха посмотрела на меня так, будто я толкую о цианистом калии. Нет, мамаша Тренгони отродясь такого не готовила. И никакая другая итальянка никогда не намешает этакую гадость. И как только ее бедный Дарио сумел все это проглотить. Да я и сам почти уверен, что названные ингредиенты не входят ни в один известный рецепт приготовления макарон. Что-то тут не так.

— Спросите у нее, было ли у ее сына оружие.

Ответ мне известен заранее.

— А вам, господин Польсинелли, он показывал когда-нибудь огнестрельное оружие? Пистолет? Кстати, пуля, которая его убила, была девятимиллиметровая.

— Никогда ничего такого в его руках не видел. К тому же я вообще в этом ничего не смыслю.

Кажется, мамаша Тренгони вдруг решила, что с нее хватит. О чем тут же и заявила мне на своем наречии: «Пускай убираются ко всем чертям…»

Никогда мне не везло с этим языком.

Но они, казалось, сами все поняли — встали и собрались уходить, признавшись на прощание, что старуха не слишком-то облегчила им задачу. Они поблагодарили меня еще раз, взяли на заметку мой телефон и ушли, было около одиннадцати часов вечера. Я собрался было двинуться за ними вслед, но мамаша Тренгони придержала меня за мою красную и потную руку, которую теребила не переставая в течение всего этого времени. Теперь, когда мы остались наедине, она захочет поговорить со мной о нем на диалекте, который уже начинает звучать в моих ушах все более и более естественно.

— Ты мне тоже дашь свой телефон, Антонио?

Как тут откажешь? Да у меня на это не хватило бы и времени — она сразу же протянула мне бумажный лист и открыла ящик стола, где я увидел россыпь шариковых ручек того же темно-синего цвета, что и зажигалка, от которой я пытался прикурить во время нашей беседы. Взглянув на них во второй раз, я сообразил, что и та ручка, которую Дарио всучил мне, чтобы писать письмо, тоже, видимо, из этого ящика. Она протянула мне одну из них, и я нацарапал свой номер. Уже на втором предмете вижу я одну и ту же надпись готическими буквами: «Частный клуб «Up», ул. Георга V, 43». С сыном этот адрес вяжется гораздо больше, нежели с матерью. И я сунул ручку в карман своего траурного пиджака.

— Надо было Дарио держаться к тебе поближе. Ты был ему хорошим другом. Уж лучше бы он тоже уехал в Париж и нашел там себе какое-нибудь ремесло, чем околачиваться здесь попусту. Три месяца назад он мне сказал, что хочет вернуться назад, в Сору, и заняться тем клочком виноградника, который у нас там еще остался. Может, для него это было бы самое лучшее. В Париже или в Соре, но только не здесь. In questa strada di merda…[5]

*****

Я снова завернул к моим родителям для отчета по полной форме. Мать приготовила блюдо из ботвы репы и еще мелкие, напоминающие пульки макароны в курином бульоне. На настоящий соус духу не хватило, призналась она. Я принялся цедить бульон прямо из кастрюльки, стоявшей на плите, а отец даже приглушил звук телевизора, чтобы не упустить ничего из моего рассказа. Я смирился со своей участью, хотя меня не покидало ощущение, что Париж уже заждался меня и что, как только я разделаюсь, наконец, с этими похоронами в предместье, такими тоскливыми, что хоть сам ложись да помирай, мои траурные костюм и галстук тотчас же угодят в огонь.

Я в общих чертах пересказал нашу беседу и спросил у своего старика, что такое девятимиллиметровый калибр. Может, он еще и помнил об этом, но ответа не удостоил.

— Самое смешное: Дарио перед смертью сказал, что собирается возделывать виноградник. У них там еще осталась какая-то земля?

— Виноградник возле Сант'Анджело?

— Не знаю.

— Cretino.

Я упомянул о макаронах, обнаруженных в желудке убитого, и тут отец вдруг вскочил на свою здоровую ногу и заковылял ко мне. Он подавил свое удивление и как ни в чем не бывало попросил повторить.

— Что повторить?

— Про кукурузу.

— Ну… хм… прежде чем умереть, он съел какое-то блюдо из макарон с кукурузой.

— А еще с чем?

— Они упоминали мяту… и одуванчики.

На какой-то миг он застыл в молчании, потом попросил стул и уселся на него ко мне лицом, строго приказав хоть на секунду прекратить хлебать этот дурацкий суп.

— Кукуруза, мята, одуванчики?.. Это точно?

— Ну да. Хотя я сроду ни о чем таком не слыхал. Верно, ма? Ты сама когда-нибудь готовила такое?

Мать, встревожившись, поклялась перед Господом Богом, что никогда в жизни не соединила бы три этих ингредиента в одной кастрюле. Она даже не знает, что это за мята такая. Но ей тут же захотелось узнать, какие именно макароны нашли.

— Pasta fino o pasta grosso?[6]

Я ответил то же самое, что и судебный врач: поди узнай теперь…

Внезапно отец принялся бормотать что-то неразборчивое, словно пьяный, потом проковылял к маленькому буфету и вытащил оттуда бутылку граппы. Мать и слова сказать не успела, как он уже хлебнул пару раз прямо из горлышка и замер на секунду, чтобы остудить обожженную глотку. Эта бутыль была для него под запретом, и он это знал. Но мать, видимо, почувствовала, что сегодня вечером он не потерпит никаких возражений. Впрочем, мне все-таки любопытно было узнать, с чего это вдруг ему пришла охота глотнуть чего покрепче.

Ставя бутылку на место, он произнес одно-единственное слово:

— Ригатони…

Секундное замешательство.

— Что ты этим хочешь сказать? При чем тут ригатони?

— При том, что это их он съел. Ригатони.

— Откуда ты знаешь?

— Оттуда. Знаю, и все тут.

Веский аргумент, ничего не скажешь. Он такие доводы просто обожает.

— Да объяснишь же ты, наконец, porco Juda!

Кстати сказать, ригатони — это такие крупные макароны, не только с солидным отверстием, но еще и рифленые, чтобы как следует впитывать соус. В общем, достаточно внушительный калибр, чтобы любую семью расколоть надвое, когда одни «за», другие «против», а у нас в оппозиции всегда был один только отец. Он терпеть не может макароны, которые надо есть поштучно, когда одной макаронины достаточно, чтобы набить рот. Зато он страстный поклонник капеллини, самых тоненьких из спагетти, которые ломают натрое, прежде чем бросить в кипяток, и варят буквально несколько секунд. Возможно, ему нравится лавирующее, словно в слаломе, движение вилки среди этой зыбкой энтропии, а может быть,

ощущение чего-то невесомого, почти газообразного, прикасающегося к нёбу. Кто знает. Но от своего он не отступается. Он, правда, и раньше всегда кривился, когда матери случалось готовить нам ригатони, но приплетать их к смерти Дарио — это он хватил лишку.

— Может, скажешь все-таки, в чем тут дело? — спрашиваю я его с полуулыбкой, но слегка возвысив голос.

Вместо ответа он вновь включает телевизор и устраивается в своем кресле. Звуки шарманки — позывные киноклуба со второго канала — погружают нас в какую-то странную атмосферу.

— Оставь меня, я смотрю фильм.

Мать украдкой делает мне знак, чтобы я бросил эту затею. В конце концов, она его лучше знает.

Мне пора, иначе упущу последний автобус. Прежде чем уйти, целую отца. Не надо бы ему дольше тянуть с лечением.

— Когда ему в санаторий?

— Завтра утром, — отвечает мать. — Сама жду не дождусь… — добавляет она так, чтобы отец не услышал.

Я уже на пороге и все-таки еще медлю. Это я-то, которого никогда раньше не приходилось упрашивать, чтобы сбежать отсюда поскорее. И вот надо же — ухожу почти через силу. В последний раз:

— Слушай, а при чем тут все-таки ригатони?

Он вскакивает рывком. Я ко всему был готов, но только не к этому; он вдруг начинает орать на меня, обзывает кретином, велит немедленно убираться к себе в Париж, а в этом доме, мол, мне больше делать нечего.

Мать тем временем вышла из комнаты, наверное, чтобы избежать его гнева, а он продолжает с новой силой. Ему, мол, и без того довольно мучительно — уезжать в какую-то больницу, где ни одной живой души не будет, чтобы ему помочь, потом неожиданно заключает, что я тоже допрыгаюсь и что меня ждет такой же конец, как и Дарио.

Грандиозное представление. Коронный номер.

Пока длилось это извержение желчи, я смотрел в телевизор, чтобы не опускать глаза вниз. Почему он вдруг выставил меня из дома, я, правда, так и не понял, зато догадался, чем его привлек этот фильм. «Поход на Рим». История двух новичков-фашистов, которые дают себя завербовать за тарелку поленты, кукурузной каши.

Это походило на воспоминание о войне.

*

Ночка выдалась беспокойная, в поту и смятых простынях. Я проснулся задолго до рассвета, меня лихорадило, жгли воспоминания о Дарио. Надо ему было в землю сойти, чтобы начать тревожить мой сон. В какой-то полудреме я даже представил мысленно сцену его смерти: словно в замедленной съемке, дуэль между двумя актерами, у одного из них лицо было плохо освещено, а другой неимоверно кривлялся, чтобы изобразить, будто его мозги размазываются по стенке. Очень плохой конец. Меня это расстроило окончательно, и я резко вскочил на ноги, чтобы взглянуть, что же такое творится под моими окнами. Ничего особенного, все те же гуляки с террасы напротив, грузовик дорожной службы, еще какая-то гудящая машина да брезжущий свет, идущий на смену потемкам. Четыре часа тридцать минут. Еще слишком рано для чего бы то ни было, и уж тем более для работы, даже если тебе повезло и ты можешь горбатиться, не выходя из дому. Смотрю на макет из полистирона,

который один архитектор заказал мне к сентябрю. Времени достаточно. Даже с избытком. Пока еще слишком рано — для чего бы то ни было.

Но только не для кофе. Немного крепкого кофе никогда не повредит. И я не прочь заварить его себе. Покрепче. Вроде того, каким я однажды напоил знакомую девицу, чтобы попугать немного. Вне всякого сомнения, это исключительно мой способ справлять поминки по застреленным итальяшкам. Другой устроил бы пьянку, а я вот варю себе кофе, который и сам покойный мог бы выпить не поморщившись. Итак, минеральная вода с самой чуточкой соли. Теперь кофе, колумбийская смесь, которую я мелю довольно крупно — из-за жары. Ставлю фильтр в резервуар и завинчиваю крышку. Что ты на это скажешь, Дарио? Тебя удивляет, что я так щепетильничаю с каким-то там кофе? Ты считаешь, что одного доброго ведра помоев мне бы за глаза хватило? Можешь не верить, но кофе-экспрессо — это единственная и последняя вещь, которая еще связывает меня с родиной предков. А сейчас очень деликатная операция: уронить в резервуар слезинку воды, чтобы первые капли кофе, которые вот-вот должны появиться, не испарились, попав на раскаленный металл. Стоит им возникнуть, как я подставляю под них чашку с сахаром и крепко взбиваю, чтобы получить красивую темную эмульсию. Когда другая чашка наполняется остальным кофе, я выливаю в нее эту эмульсию, и она остается на поверхности в виде пенки, придавая напитку вкус, который нигде больше не сыщешь по эту сторону Альп. За тебя, Дарио.

Еще в полусне я целую четверть часа потягиваю этот нектар, обмозговывая так и этак невероятную смерть, о которой я единственный из всех — включая и самого убийцу, и тех двух сыщиков, которым поручено его отыскать, — знаю некую немаловажную деталь. И я снова и снова копаюсь в воспоминаниях, которые сохранились у меня от этого странного письма. Как ни крути, оно предшествовало его смерти. Я уже самым добросовестным образом перебрал целую кучу гипотез, когда вдруг в моем мозгу внезапно вспыхнуло одно-единственное слово и заколотилось во всех закоулках памяти. За несколько секунд это чертово словцо приобрело непомерное значение. И все остальное тотчас выпало из крута моих интересов. Словцо вынырнуло вновь, с тем чтобы больше не исчезать. И одновременно я понял, что наступило, наконец, подлинное пробуждение.

Ригатони.

Ригатони, ригатони, ригатони… Что, черт возьми, мой свихнувшийся папаша подразумевал под этими ригатони? Когда я рассказал ему о вскрытии, у него на несколько минут словно голова закружилась. Потом он, правда, вновь пришел в себя. И захлопнулся, как устрица, — что-что, а это он хорошо умеет делать. И вот сегодня утром я обнаруживаю себя с этим словцом, застрявшим в башке, и все остальное перестает иметь значение. Что-то в них все-таки есть необычное, в этих ригатони. Есть, и все тут. Точка. Наш патриарх, конечно, не прочь пошутить, но смерть мальчугана, который родился чуть не на его глазах, никак не могла стать для него поводом для шутки. Пьяным он тогда тоже не был, хотя и постарался захмелеть сразу же после этого известия. Наорал на меня, почти оскорбил, причем без всякого повода, а потом уткнулся в свой телевизор и посоветовал убираться поскорее. Не нравится мне все это. Дурной знак.

Я подождал еще немного, чтобы не разбудить их. Трубку сняла мать.

— Он уже уехал, Антонио. После того как накричал на тебя, нога у него еще больше разболелась.

— Сколько он там пробудет?

— Ну… месяц, наверное. Как и в прошлые годы.

— Я на днях загляну к тебе. Чао.

Так. Папаша предпочел смыться. По крайней мере, я делаю такой вывод. Сбежать и тем самым скрыть нечто, имеющее отношение к смерти Дарио. Предпочел укатить в свой Перос-Гирек, пусть даже ему там весь пах разворотят, лишь бы не отвечать ни на один из моих

вопросов. Или чему-то воспрепятствовать… чему-то такому, что нам обоим помешало спать? Даже меня это проняло, а ведь ему уже за семьдесят, и он приволакивает ногу. Не говоря о гнусной привычке ухмыляться в ответ, когда врач советует притормозить на спиртном и табаке. В общем, мой отец — жизнерадостная развалина, которая не видит ни малейшего повода что-либо менять в своей жизни. До тех пор, по крайней мере, пока это что-либо не станет недоступно само по себе… И как знать?..

День занимается, и я задаю себе тот же самый вопрос, что и сыщики из предместья: кто же такой был Дарио? Недавний Дарио, такой, каким он был три месяца назад, такой, каким и я сам мог бы стать, если бы природное любопытство не выгнало меня за пределы улицы Ансельм-Ронденей.

Ближе к ночи я заглянул к сестре, чтобы одолжить у нее машину. Около полуночи я кружил неподалеку от улицы Георга V, еще не зная, собираюсь там остановиться или нет. «Up», частный клуб. Темно-синяя вывеска, черная дверь, звонок. На это место Дарио намекал в своем письме. Два заранее ненавистных слова: «клуб» и «частный». Звучит так, будто там внутри бар для наемных танцовщиц и все такое. Дизайн, наверное, чудовищный. Тупой вышибала. Грустные девицы. И задрипанные клиенты. В общем, ясно, что за местечко. Как раз для Дарио. Словно по мерке.

Хорошо, что я сохранил свой траурный костюм с галстуком — на всякий случай. Сейчас как раз такой случай. Глазки вышибалы изучают меня всего несколько секунд. Похоже, эти ребята сразу врубаются, с кем имеют дело, еще до того, как вы переступили порог. Он только открыл дверь, и все — ни улыбки, ни единого словечка, так что мне даже нет нужды угощать его той фразой, которую я заготовил заранее. Гардероб, в котором мне нечего оставить. Первый бар с двумя-тремя типами в таких же похоронных костюмах, как и у меня: то ли персонал, то ли завсегдатаи. Дизайн и впрямь ужасен. Музыка доносится откуда-то снизу: приглушенное мурлыканье, эстрадные мотивчики. Сунув руки в карманы, скатываюсь в подвал, обитый красным бархатом. Еще один бар, банкетки, кресло, какие-то японцы и несколько девиц. Так себе девицы, не выше среднего: как в смысле мордашек, так и сексуальности. А я-то думал, что клиента, прежде чем вызвать у него жажду, надо сначала хорошенько разогреть. В удаленном укромном уголке замечаю человек пять-шесть, занятых разговором, всем лет под шестьдесят, ни девиц, ни стаканов. Второе, что приходит мне в голову, — никто не рвется меня обслуживать, и я, кажется, могу еще долго тут околачиваться, прежде чем мне предложат что-нибудь. Усаживаюсь на табурет у стойки. Бармен тянет довольно долго, поэтому начинаю разговор первым:

— Один бурбон. Безо льда.

— «Джек Дэниелс», «Уайлд Тёки», «Фо Розиз», «Сазерн Камфорт»?

Все они по полторы сотни стаканчик, так что есть из чего выбрать. Я и оглянуться не успел, как выдул свою порцию. Даже пожалел о ледышках. Потом вторую. И уже приканчивая третий, стал подсчитывать: минус триста сорок пять франков, плюс тридцать минут молчания, а в итоге я до сих пор не знаю, правильно ли поступил, притащившись сюда. Тем временем народу прибавляется — туристы, парочки, какие-то девицы, про которых даже не скажешь с определенностью, работают они здесь или нет. Никто не хочет со мной и словечком перемолвиться. Будто я невидим. Прозрачен. Ни для кого здесь не существую. Делаю знак бармену, чтобы тот склонился ко мне:

— Вам знаком некий Дарио Тренгони?

Он слегка отшатывается назад, смотрит в зал, ставит стакан, который только что протирал.

— Я тут недавно. Это клиент?

— Не знаю.

— Подождите минутку, сейчас выясню.

Поразмыслив, опять спрашиваю себя, правильно ли поступил. Бармен выходит из-за стойки и приближается к компании шестидесятилетних. Пять дружных взглядов в мою сторону. Он возвращается.

— Сейчас узнаем, вы пока не уходите. Может, еще бурбончик?

— Да.

Тройная доза. Я немного ослабляю узел на галстуке.

— Гляньте налево, там сейчас будет одно небольшое выступление. Минут через десять. Может, вам понравится.

Красный занавес, за которым угадывается крохотная сцена с подсветкой, украшенная осколками зеркала. Мне как раз хватает времени допить свой стакан, и занавес открывается. Поймав на себе игривый взгляд бармена, я тут же подумал о стриптизе, наверняка таком же убогом, как и все остальное. И снова ошибся, потому что на сцене, в желтом пятне прожектора, под жидкие хлопки появился молодой парень. Смокинг. Микрофон. Сумеречный взгляд. Темнота в зале.

Он пел с душой, этот паренек. Начав с отрывка, который мог бы выжать слезу из моей младшей сестренки лет десять назад, где все твердилось: Ti Amo, Ti Amo, Ti Amo…[7] Он тянул это минуты три подряд. Потом переключился на Sei bellissima…,[8] и тут только я сообразил, что мальчуган-то самый что ни на есть неподдельный итальянчик, судя по его манере растягивать bellissssssssima. На меня недобро посмотрели, когда я вдруг резко захохотал, сам того не желая. Самое время взять себя в руки и взглянуть на свой стакан. И осушить его одним духом. Когда же он затянул Volare oooho Cantare… до меня дошло наконец, какого черта тут делал Дарио. Бармен — нереально. Клиент — маловероятно. Певец. Значит, ему все-таки удался этот фокус — заделаться микрофонным шептуном и толкать со сцены стандартный набор задушевной дребедени, затертой до дыр. В баре для проституток. И снова я завыл от смеха, пытаясь себе это представить. И возблагодарил Дарио таким вот образом во всеуслышанье за то, что он сумел-таки остаться тем же опереточным итальяшкой, который потешал некогда весь наш квартал.

Дарио, я жалею обо всем сказанном. Ты пошел до конца, и я единственный это знаю. Ты должен был сказать это мне, в тот последний раз, когда я еще видел тебя живым. Ты побоялся выглядеть дураком. И зря…

Чья-то рука легла на мое плечо. Какой-то тип, постарше, чем остальные, склонился к моему уху и попросил выйти вместе с ним. Только попытавшись слезть с сиденья, я осознал, в каком я состоянии. Двое парней подхватили меня под руки, и я безропотно позволил им оттащить себя за какую-то занавеску. Я решил, что таким манером они мне помогают. Они усадили меня на ящик с бутылками. Здесь голос певца резонировал даже сильнее, чем в зале.

— Чего ти хотель от Дарио?

Я вытаращил глаза, чтобы попробовать рассмотреть лицо говорящего. Те двое меня отпустили.

— Ничего… Он… умер…

В моем желудке, переполненном алкоголем, что-то начало булькать.

— Я ищу одну… одну мадам… Рафа… Рафаэль…

Мои глаза закрывались сами собой, но все же я старался ничего не упустить.

— Зачем?

— Какое твое… собачье дело…

Оплеуха была настолько неожиданной, что я даже не успел заметить, кто из них мне ее отвесил. Тот, что постарше, порылся в моих карманах, вытащил бумажник и куда-то с ним ушел. Я выблевал на красную обивку сгусток желчи. Меня дотащили до водопроводного

крана, сунули голову под струю холодной воды и держали там в течение безумно долгого времени. Понемногу это осадило потоки лавы, бурлившие в моем черепе. Я заметил, что из двух громил со мной остался только один.

— Ты ведь не легавый, верно? Так чего тебе здесь надо?

— Я был другом Дарио.

— Другом? Того малого? Вот черт, а ведь это я его откопал на одном дансинге, на Монпарнасе. Он там был такси-боем. Ну, мальчик по вызову. А здесь как раз понадобился кто-нибудь, чтобы толкать песенки. Хозяин это дело просто обожает, особенно всякую итальянскую тягомотину. И этот твой Дарио не заставлял себя долго упрашивать.

Он говорил так быстро, что половина сказанного от меня ускользала.

— Такси-бой?

— Слушай, а ты уверен, что вы дружками были? Ладно, если предпочитаешь, можешь называть это светский танцор. Ему, наверное, стоило бы им и остаться. Он там только за выходные больше зашибал, чем здесь за неделю.

— Танцор?

Тот ухмыляется.

— Да ты откуда свалился? У него там, кстати, была неплохая клиентура, это надо признать… Прямо в очередь становились, лишь бы повальсировать с твоим Дарио. И не одни только старухи, между прочим. А перед самым закрытием их становилось еще больше, смекаешь?

— Нет.

Он опять ухмыляется.

— Вижу. Петь и танцевать — это так, фасад, реклама. С таким количеством жаждущих баб он хоть аукционы мог устраивать. Знаешь, сколько такой жеребец, как Дарио, мог заколачивать?

— Так он был… жиголо?

— Вряд ли бы ему понравилось, что ты его так называешь. Когда мы узнали о его смерти, нас это здорово задело. Нам такие шутки не по вкусу. Приятелей у него тут, правда, не было. Хотя таким, как он, это и ни к чему. Все, что ему было нужно, это бабки. И побольше. Как и всем нам, согласен, но у него из-за этого даже на болтовню времени не оставалось.

— А зачем ему надо было столько денег?

— Не знаю. Но он хотел, чтоб много и быстро. Хотя… с такой рожей, как у него, да с таким голосом, дурак бы он был, если бы начал стесняться. Я бы и сам не прочь иметь такие данные.

— А мадам Рафаэль, это кто такая?

Слишком поздно. Вернулся старик, и его подручный тотчас же заткнулся. Слышу, как певец затянул вдалеке: Come prima…

— Слушайте, неужели это и в самом деле нравится вашей публике? В свое время даже мой дедушка считал, что это слегка вышло из моды.

Степенным жестом он засовывает мой бумажник на место, потом обмахивает мне пиджак рукой и поправляет распустившийся узел галстука.

— Мне этта нравиться. И баста.

Он берет меня за руку, чтобы проводить к выходу.

— А ти уметь… cantare, Антонио Польсинелли?

— Нет. Во всяком случае не так, как Дарио.

— Никто так не уметь cantare. Но ти… если ти хотеть работа… ти всегда меня найти. Ти походить… на один из наши. Ciao, ragazzo…

*

Я осознал, что нахожусь уже на улице, хотя и не по своей воле. В голове пышным цветом расцветала боль. Прежде чем отправиться на поиски своей машины, я некоторое время оставался в неподвижности, прислонившись к двери клуба и изо всех сил пытаясь не закрывать глаза, чтобы не свалиться окончательно. Моя бы воля, я бы вообще прилег на часок в канаву, ожидая, пока не пройдет головокружение.

Тут-то я и увидел эту машину, затормозившую у самого моего носа. Серо-стальной «ягуар» с металлическим отливом, огромный, бесшумный, с двумя неподвижными силуэтами внутри — один за рулем, другой на заднем сиденье. Отреагировать на это явление хоть каким-то образом у меня не хватило времени — вышел шофер и, не говоря ни слова, отворил заднюю дверцу со стороны тротуара. Пассажир высунулся наружу. Лица его в потемках я рассмотреть не смог.

— Господин Антонио. Мне необходимо с вами поговорить.

Она сказала это так убедительно, что я ни на миг не заподозрил ловушку. Даже если это хозяин «Up» постарался устроить нам свидание. Наоборот, чем-то они меня притягивали к себе: и машина, и ее таинственная обитательница. Вчера на ней была черная вуаль, а сегодня сама ночь укрывает ее от нескромных взглядов.

*

Хотя, сказать по правде, уже при одном только звуке ее голоса я должен был насторожиться.

Роскошно-скрипучий, наждачной тональности, великолепно обработанный табаком и всякими разъедающими напитками, он скрежещет в ухе, словно поток мелкого гравия. Голос, извлекаемый из горла, изъеденного временем, слетающий с губ, иссеченных морщинами до самых уголков. Такой бывает только у настоящих дам.

Мадам.

Возраст? Где-то за пятьдесят. Пятьдесят пять? Может, и все шестьдесят. Но годы, казалось, пощадили это лицо, оставив его почти в неприкосновенности. Шофер подъехал прямиком к шикарному дому на проспекте Виктора Гюго и остался ждать внизу. Не обменявшись с ней ни единым словом, ни единым взглядом, я проводил ее на второй этаж, в квартиру, которая оказалась гораздо меньше, чем я предполагал.

— Располагайтесь…

Может, мне тоже легче называть ее «мадам»? Интересно, она и в молодости была такой же красавицей или стала ею с годами?

— Знаете, я вовсе не собираюсь удерживать вас силой. Впрочем, он всегда был таким дикарем, что я даже сомневалась, мог ли он вообще иметь друга. Настоящего.

При слове «друг» я чуть было не сделал небольшую поправку, немного не к месту и уж совсем не по делу.

— Он часто говорил мне о вас.

— Простите?

— Вы удивлены, кажется? О… Антонио хорошо учился, Антонио делал за меня уроки, Антонио помешал мне совершить кучу глупостей… Если бы вы с ним виделись почаще, став взрослым, может быть, этого с ним и не…

— Это бы с ним случилось в любом случае.

Не вставая с места, осматриваюсь. Маленькая гостиная, где они наверняка не рассиживались слишком долго, низкий столик, куда бросали ключи, ни малейшего признака кухни, зато в уголке холодильник, поставленный здесь исключительно из-за льда и газированной воды, а чуть подальше его прямое дополнение — бар, доверху забитый золотистыми, благоухающими бутылками. И конечно, спальня, как раз напротив меня, с большущей кроватью. Прилегающая к спальне ванная. Короче, ничего такого, что хоть чем-то напоминало бы о повседневности: сплошные экстра, сверх и супер. Никаких правил, одни лишь исключения.

— Мы приходили сюда только для того, чтобы сразу лечь в постель, если вы это хотите знать. Иногда утром, часто днем, в общем, всякий раз, когда я имела такую возможность.

— Меня это не касается.

— Когда мы приходили, он чаще всего начинал меня раздевать прямо в дверях. Потом занимались любовью. Он ни на секунду не оставлял меня в покое. Даже потом приходил смотреть на меня под душем.

— Меня это не касается, — настаиваю я, отводя взгляд в смущении.

Но очень скоро до меня доходит, что она вовсе не собиралась ни шокировать меня, ни откровенничать. Просто единственное, о чем она могла говорить, это об их безумной страсти, о ее теле, еще способном разжечь желание красавца брюнета тридцати лет от роду. Она предложила мне сначала стаканчик, потом сигарету. Видя ее желание расположить меня, я согласился на второе.

— Вчера я вас сразу же узнала на кладбище. Вы так похожи на него, Антонио…

— Физически?

— Да, конечно, у вас такие же волосы, та же посадка головы, и вы тоже засовываете руки в карманы, когда поднимаетесь по лестнице. Внешне вы оставляете то же впечатление. Но на этом все и кончается. Дарио не мог выдержать молчания больше десяти минут. Он был сама безалаберность и совершенно невоспитан. Не успев прожить одно мгновение, он уже хватался за следующее. И стоило только почувствовать душевное спокойствие, как ему хватало буквально двух фраз, чтобы его нарушить. Потому что ему было необходимо, чтобы все вокруг бурлило и двигалось, потому что он не умел ждать, не мог выносить, чтобы ничего не происходило, пока весь мир о нем не услышал. Когда он так увлекался, его итальянский накатывал волнами, и я порой теряла нить нашего разговора… Он часто говорил, что однажды произойдет чудо, которое…

— Он дорого вам стоил?

Желание задать этот вопрос зудело во мне с первого же взгляда на нее. Такие злые вопросы вообще-то не задают, но как бы там ни было, она сумела от него ускользнуть. Если своими морщинами мадам Рафаэль была обязана своему возрасту, то он же давал ей и некоторые неоспоримые преимущества. Она попросту рассмеялась.

— Вы имеете в виду деньги? Никогда не считала. Первый раз я увидела его в дансинге. На следующий день я туда вернулась, и ходила туда до тех пор, пока мы не стали…

— Ближе друг другу?

— Если угодно. В то время я, конечно, платила, как и все остальные, и довольно высокую цену. Дарио был профессионалом, и он сразу сообразил, что денег у меня много. А когда хозяин клуба предложил ему петь у него, это я настояла, чтобы он согласился, и даже

хотела возместить ему потерю в заработке. Я все сделала, только бы он избавился от всех этих… этих…

И как только такую женщину, как она, угораздило влипнуть в подобную историю? Скука. Праздность. Похоть. Игры с огнем. Нежелание стареть. Что там еще. А Дарио? Как он мог продать себя с такой легкостью? Одно дело нашептывать песенки в микрофон, над чем я мог бы просто посмеяться, и совсем другое — стать презренным жиголо. Тут уже не до шуток.

— Я знаю, что вы обо всем этом думаете. Но эти деньги… они не были платой за услуги. А Дарио вовсе не был для меня жиголо. Сами посудите, разве мог бы он написать мне такое письмо, если бы для него дело было только в выгоде?

Она достает его из сумочки и протягивает мне, чтобы я прочитал. Делаю вид, что пробегаю глазами.

Это производит на меня странное впечатление — сидеть вот так и узнавать обрывки фраз, которые я старался составить получше, сидя в разрушенном катере на свалке. Теперь даже не знаю, кто из нас двоих его написал — я или Дарио. Но мадам Рафаэль все равно права — такие письма не пишут клиентке, которую обслуживают, превозмогая отвращение.

Снова любуюсь ее поразительно красивым лицом: морщинками у глаз, которые она даже не пытается скрыть, седыми волосами, которые отказывается красить, и ко мне возвращается все тот же вопрос: всегда ли она была так красива или же стала такая со временем? Но нет, решительно, вопросы такого рода вслух не задают.

— Мой муж гораздо богаче и могущественнее, чем можно вообразить. В эту комнату по крайней мере четыре предмета попали с его заводов, а остальное — из бумажника. Мы не разговариваем с ним вот уже десять лет. Но женщины в моем возрасте не рискуют хранить молчание и с другими мужчинами.

— Он так ничего и не узнал о том, что у вас было с Дарио?

— Нет, это невозможно. Он ни за что не позволил бы нам встречаться, из страха потерять меня навсегда.

Она встала, потянувшись за стаканом.

— Дарио нужны были деньги. Должна признать, что поначалу он имел твердое намерение вытянуть из меня немалую сумму, и в кратчайшие сроки. Сто сорок тысяч франков, если быть точной.

Сколько же раз надо помножить пять на семь, чтобы набрать столько?

— Во время наших первых свиданий я еще играла в эту игру. Раза два-три, а потом…

Что было потом, уточнять нет нужды. Купидон расстрелял свои последние стрелы, и пластинка завертелась.

Мой бедный Дарио… Как только подумаю, с каким пылом ты искал себе женщину начиная с наших юных лет. Да и всем остальным хотелось видеть тебя с такой, которая подарит тебе сына — гордость каждого итальянца. Она бы тебя ублажала, ты бы ее забавлял. Вы были бы хорошей парой. Жили бы себе да радовались. Но ты отдал свои последние мечты этой даме, гордой француженке, такой далекой от нашего квартала, от нашего детства. Я потрясен, дружище. Потрясен этой любовью, которая свалилась на вас нежданно-негаданно в ваши-то годы. Потрясен концом этого приключения на двоих. Жиголо и скучающая дама из общества.

— Антонио, если я так хотела вас разыскать, то вовсе не для того, чтобы говорить с вами о нем часами напролет. На это имеются более веские причины. Вы знаете, зачем ему понадобились эти деньги?

Она наклоняется, чтобы достать из-под низкого столика какую-то папку, лежащую у самых ее ног. Открыв ее, вынимает оттуда машинописные листы, сколотые по четыре-пять и

сверху донизу разукрашенные печатями и штампами. Какими именно — мне пока трудно определить.

— То, что вы видите перед собой, это и есть мечта Дарио.

Вот оно что… Раз такое дело, пытаюсь полностью сосредоточиться.

Договоры, еще какие-то официальные бумаги, и, к моему немалому удивлению, все написано по-итальянски. Настоящий итальянский язык, итальянский из самой Италии — в этом нет никакого сомнения. С какими-то техническими терминами и прочими многозначительными и напыщенными словесами. Предпочитаю подождать разъяснений.

— Вы, конечно, понимаете?

— Нет.

— Это бумаги на владение четырьмя гектарами земли рядом с его родным городком. Вы ведь тоже родом из Соры?

Она произнесла это с любезной улыбкой, словно словечко «Сора» должно тотчас пробудить во мне нежную грусть под аккомпанемент мандолины. Я же ощутил, скорее, смутное беспокойство, смешанное с любопытством, по поводу этого неожиданного возвращения к родным корням. Мамаша Тренгони тоже упоминала о том клочке земли, но мне, несмотря на все эти документы, так и не удается представить ее сладкоголосого сыночка возвращающимся в родную деревню, чтобы топтаться в вязком дерьме, надеясь, что со временем там что-нибудь да вырастет. Хорош светский танцор: левая рука на сердце, правая — на мотыге. Начинаю думать, что я и впрямь был единственным, кто хоть немного знал Дарио. Если он сумел-таки заморочить голову обеим своим женщинам насчет своих крестьянских поползновений, то со мной этот номер не пройдет. Но что их он надул, это точно.

— Он хотел строить там что-нибудь? Что там вообще такое, на этом участке?

— Виноградник. Клочок земли между Сорой и Санто-Анджело. Я правильно называю?

— Нет, надо делать стяжение: Сант'Анджело. Но это совершенно неважно, потому что всем на этого святого наплевать, и местные пользуются его именем, только чтобы богохульствовать.

— Простите?

— Точно вам говорю. Когда им духу не хватает помянуть Христа или Мадонну, то именно Сант'Анджело приходится за них отдуваться. Они считают, что это не так серьезно. Он там вроде козла отпущения за целые святцы. Ни одно проклятие в округе без него не обходится. Так что со стяжением или без него — один черт…

— Успокойтесь.

Ее рука легла на мое колено. Она пристально глядит на меня, не понимая, в чем дело.

— Как вы все-таки отличаетесь от него… Сам-то он был так близок ко всему этому… И он говорил об этом с такой… такой… Понимаете? Его земля, его народ, его имя… И я нахожу это вполне естественным, не правда ли? Но у меня впечатление, что лично вас это как-то задевает. Обычно люди, приехавшие из других краев, всегда такие…

— Иммигранты, вы хотите сказать? Ну так что? Какие они, по-вашему?

— Они гордые и ранимые.

— А Дарио, значит, вдруг сделался гордым и неуязвимым, как только получил во владение четыре гектара виноградника?

— Они ему не с неба свалились. Участок раньше был разделен между тремя владельцами. Два гектара он получил от матери.

— От мамаши Тренгони?

— Вас это удивляет?

Нет. Дарио всегда упоминал о земле своего отца таким тоном, будто ему действительно принадлежало там что-то стоящее. Впрочем, у каждого выходца из Италии остается там какой-нибудь полумифический клочок земли, который ему не удалось ни продать, ни сделать доходным настолько, чтобы с его помощью прокормить bambini. Мой собственный отец тоже в свое время нам уши прожужжал о своем лесе, словно это был настоящий Броселианд.[9] Хотя на самом деле, насколько я сумел выяснить, это всего лишь небольшой откос у дороги с несколькими орешинами, куда порой забредают козы в поисках какой-нибудь тени. Продать его отец никогда даже не пытался. Он-то хорошо знает, что вся вырученная сумма едва ли покроет расходы на дорогу туда и обратно, а также на нотариуса и на пиццу. За эту цену он предпочитает хранить в закоулках памяти смутное воспоминание о родовом владении — густом и тенистом. Что ж, он не дурак, мой отец. Похоже, отец Дарио сделал тот же подсчет.

— Два других гектара были поделены между двумя владельцами. Один из них обосновался в Соединенных Штатах, в Нью-Джерси, а другой по-прежнему живет в Италии, в Сант'Анджело. Я правильно сказала в этот раз?

— В Нью-Джерси?

— Я оплатила Дарио эту поездку. Владелец даже забыл о своих нескольких арпанах, и поэтому уступил их с большой легкостью и почти даром. Самым неуступчивым оказался тот, другой итальянец. Он ни за что не соглашался расстаться со своим клочком земли, якобы хотел там построить дровяной сарай. Дарио долго торговался с ним на месте и в конце концов все-таки сумел убедить. Объединив три акта о передаче владения, он стал полновластным хозяином всего участка. Вот.

— Я сейчас, наверное, задам глупый вопрос… но что он, собственно, собирался там делать, на этом винограднике?

— Вино.

— Что, что?

— Вино.

Самый невероятный ответ из всех возможных.

— Он хотел уехать из Франции и заниматься там виноделием. И жить на это. Это была самая заветная его мечта, самая глубокая, сильней всего остального. Сильнее, чем я. А ведь когда любишь, мечты любимого всегда кажутся более стоящими, чем свои собственные.

— Но это же невозможно. Дарио сроду не работал на земле. Он ничего не смыслил в виноделии. Да вы сами только попробуйте представить!..

— Он бы научился со временем. Пока Дарио не стал владельцем, вином там занимался один местный крестьянин, без особой выгоды, надо сознаться. Я дала Дарио денег, чтобы он нанял его в качестве виноградаря на три ближайших урожая. Тот сразу же согласился. Никто больше не хочет возиться с этим виноградником. Можно подумать, что все это время он дожидался именно Дарио, который должен был его спасти.

Бросив документы на диван, она на какое-то мгновение закрыла глаза. Тотчас же мое пронырливое воображение не преминуло вообразить их вдвоем. Он — воздев руки к небу, кружит по комнате и говорит, говорит, о себе, о себе, опять о себе, об Италии и о своих мечтах, и она — внимающая, влюбленная, упивающаяся инфернальным простодушием своего любовника. На такие дела у меня в общем-то нет чутья, но в этот раз я просто уверен, что речь идет о настоящей любви. Пусть все это изначально отдавало жульничеством, имело корыстную цель и пошлый интерес, но без искры чистой, беспримесной любви все же не обошлось. И воистину надо быть таким ханжой, как я, чтобы сомневаться в этом и разыгрывать из себя оскорбленную невинность.

— Антонио… Я еще не сказала вам главного. Я не знаю, почему у меня отняли Дарио… Но знаю, что все это время он старался скрыть какой-то невероятный страх. Страх, что все

это плохо обернется. Он никогда мне в этом не признавался, но в конце концов написал в письме, что, если бы с ним что-то случилось, он хотел бы, чтобы его земля досталась единственным существам, которые захотели протянуть ему руку.

Я опустил глаза, чувствуя, как мой сердечный мотор набирает обороты, и испытывая желание бежать отсюда куда глаза глядят.

— Что мне прикажете делать с этой землей? Вся моя жизнь здесь… А ваша страна кажется такой чудесной… Она принадлежит вам по праву. Это ваша земля.

Я встал.

— Вот Дарио знал, что с ней делать. Он говорил, что его мать никогда не вернется на родину и что, кроме меня, у него остается только…

— Замолчите.

— Он любил вас, Антонио. Хотите вы этого или нет… И он решил в присутствии нотариуса вписать в эти акты о передаче владения еще одно имя.

— Перестаньте говорить глупости.

— Если вы от них откажетесь, то они перейдут к общине Соры. Но я прошу вас, примите их, это было его последнее желание…

— Хватит, наконец!

Низкий столик содрогнулся, когда я задел его ногой. Она тем временем перебирала бумаги, чтобы доказать мне, что все уже оформлено как положено, проштамповано и согласовано. Вот оно, мое имя, написанное буква за буквой.

Кошмар.

— Ради этого я вас и искала, Антонио. Чтобы передать вам его последнюю волю вместе с этими бумагами.

Сам того не желая, я оттолкнул эту женщину, которая загораживала мне проход. Прочитав свое имя, отпечатанное на машинке, я чуть не вскрикнул от внезапного удушья. Словно я вдруг угодил в западню. В карцер. В камеру пыток.

— Это была его последняя мечта, Антонио.

Я бросился к выходу. Она насильно сунула мне в руку пачку бумаг.

И я сбежал, не сказав ни слова, не попытавшись ни понять, ни вновь отказаться.

*****

Итак, все усилия, потраченные на то, чтобы уложить между мной теперешним и моей предместной юностью как можно больше лет и километров, пошли прахом в какие-то несколько дней. А я-то, словно вышедший на свободу каторжник, словно вернувшийся издалека наркоман, надеялся, что уже покончил со своим прошлым — завязал. Но нет, улица Ансельм-Ронденей держала меня гораздо более цепко, чем я предполагал. Просто так от нее не отделаешься. Может, именно это и хотел сказать Дарио своим «моя улица длинна»? Может, мне сменить имя, перекраситься в блондина, покинуть Францию и все начать сначала, на новом месте? Снова эмигрировать, снова вступить в порочный круг? Видимо, чтобы итальянская община забыла обо мне, надо заплатить немалую цену. До сих пор я отказывался даже ногой ступить на землю предков, и вот, пожалуйста, вдруг становлюсь законным владельцем какого-то ее клочка. Как не увидеть в этом доказательство существования некоего циничного божества? Не говорю уж о призраке Дарио, который липнет ко мне еще назойливей, чем сам он в те годы, когда мы вместе болтались по улице.

Два часа ночи. В «Салонах» напротив веселье идет полным ходом. Открываю окно пошире, чтобы хоть немного проветрить. Чувствую, что, если мне даже и удастся заснуть, Дарио посетит меня во сне.

Дарио… Ну и мерзавец же ты, Дарио. Ты присоединил мое имя к своему собственному на бумажках нотариуса задолго до того, как упросил написать то злосчастное письмо. Ты предпочел меня оскорбить, нежели мне довериться. Открыться в том, что ты всегда думал обо мне как о своем друге. Но ты знал, что наша дружба перестала быть обоюдной уже довольно давно. И вот я спрашиваю себя, поразмыслив: а действительно ли то письмо было адресовано мадам Рафаэль? Может, в тебе оказалось гораздо больше маккиавелизма, чем я предполагал? В сущности, не ко мне ли самому ты обращался, заставляя переводить его?.. Мерзавец. Ты мог хотя бы заикнуться про это вино. Вино? Вообразить такого притворщика, как ты, виноделом? Да ты его даже не пробовал никогда, это вино. А мне и раньше доводилось слышать, что вино Сант'Анджело не более чем сомнительная кислятина. Мой отец от него всегда отказывался. Как-то в голове не укладывается, что ты продал сначала тело, а потом и душу ради бурды, которая целую округу пугает изжогой. Ты что, всерьез намеревался сделать из него что-то сносное и преуспеть там, где все остальные потерпели крах? Или ты вдруг ощутил зов родной земли и сказал себе, что это и был утраченный Эдем, но что еще не поздно наверстать потерянные годы?

Идиотские предположения. Ни за что не поверю, чтобы Дарио, король системы «Д», то бишь «Системы Дарио», впутался в такое кислое дело. А что во всем этом есть что-то кислое, я даже не сомневаюсь. Но только не виноград. Что-то кислое, гнилое, какое-то второе дно, а может, и… золотое. Мне уже начинает не хватать моего отца. С ним единственным я мог бы потолковать о том клочке земли, где он в юности пас своих индюков. Он мог бы мне рассказать историю этой земли, этого кислого вина, припомнить какие-то местные анекдоты, слушая которые я, глядишь, и наткнулся бы на подходящую мыслишку. Ведь во всех этих местечках вроде Соры всегда найдется одна-другая родовая распря, унаследованная от предков и которую местные кланы, нашпигованные оружием, уже не первый век пытаются разрешить. Но какое отношение все это может иметь к похабнику франко-итальянского происхождения, который на земледельца походил не больше, чем Фрэнк Синатра на церковного звонаря?

Устраиваюсь за своим рабочим столом, чтобы как следует изучить документы, и даже вооружаюсь ради этой надобности словарем Гарзанти.

Для начала имена бывших владельцев:

Джузеппе Парини, Трентон, Нью-Джерси, США.
Один гектар. Северо-северо-восток. Уступлен за девять миллионов пятьсот тысяч лир.

Иначе говоря, за пятьдесят тысяч франков. То есть просто даром.

Далее:

Марио Манджини, Сант'Анджело, Лацио, Италия.
Один гектар. Юг. Восемнадцать миллионов лир.

А итальянец-то запросил почти вдвое больше. Что ж, логично. Хотя цена тоже так себе, без перебора. Плюс еще два гектара дармовых в итоге дают нам изрядный виноградник в четыре гектара, приобретенный за сущие гроши. Тут еще имеется упоминание об амбаре, погребах и сарае для инструментов. И все это великодушно подарено влюбленной дамой, которая потихоньку, но без колебаний запустила руку в мужнину мошну.

Внезапно весь этот маскарад вызвал у меня раздражение. Мне вдруг показалось, будто Дарио манипулирует мной с того света, и я смахнул все бумаги на пол. Следом чуть не свалился и мой макет. Я зажег в студии все светильники, которые там имелись. Несмотря на то что июль только начинался, жара стояла такая, что у меня пылали щеки.

Вдруг я уловил какой-то глухой звук и ощутил ожог на шее. Что это было такое, я понял не сразу.

В удивлении я опустился на колени и сунул голову под стол. Поднес руку к затылку, и рука скользнула по чему-то липкому до самого плеча. Я улегся на живот, сам не знаю почему, словно податливый мертвец, уже начинающий коченеть, хотя в действительности чувствовал себя лишь слегка задетым. Заинтригованный и недосягаемый под своим столом, я лежал, зажав рану рукой, и пытался понять. В какую-то долю секунды в моем мозгу пронеслись два-три образа: летние осы, гудящие над ухом, прежде чем укусить, удар горячей невидимой бритвы, плохо заживающий порез, который продолжает кровоточить и тогда, когда о нем уже забыли. Без сил, в полном недоумении я сначала попытался сохранять неподвижность, искал полного покоя. Я повернул голову к окну и не обнаружил там ничего, кроме россыпи звезд да оранжевых отсветов под ними, исходящих от здания напротив. Рассеянный гул, смутное позвякивание, переплетающиеся голоса и, быть может, где-то в глубине немного легкой музыки. Я дополз до ванной, оставляя на полу дорожку из красных капель, и страх наконец охватил меня, как первый признак, что я вернулся к действительности. Я испугался, что кровь вытекает из раны целыми литрами и что меня вот-вот захлестнет ею, словно волной. Я уже воображал, как она сначала льется потоком, а затем едва сочится. Я изо всех сил боролся со слабостью, чтобы не потерять сознание, прежде чем успею заткнуть дыру — сначала полотенцем, а затем длинным бинтом, который, на мой взгляд, как-то слишком быстро пропитался драгоценной влагой. Я долго не решался взглянуть в зеркало, глубоко убежденный, что этот источник так никогда и не иссякнет. Что там за жила такая, на затылке, чтобы оттуда столько лилось? — подумал я. И тут вдруг все разом успокоилось. Бинт я, правда, снять не осмелился, но почувствовал, что струя стала гораздо тоньше, а во мне еще оставалось довольно живительной влаги, чтобы я мог пребывать в сознании. Я долго колебался, держа бутылку девяностоградусного спирта в руке, прежде чем плеснуть — еще и еще раз, беспорядочными рывками — в направлении своей раны. Вопли терзаемого мученика, которые я испускал при этом, мало что добавили к идиотизму сцены.

3

На террасе напротив — конец вечеринки. Парочка кутил любуется на звезды и чему-то еще тихонько смеется. Официант гасит свет и опустошает последние стаканы. Четырьмя этажами ниже дружно гомонит компания развеселых гуляк, прежде чем рассесться по машинам. Все это напоминает банкет по случаю подведения годового баланса в какой-нибудь информационной конторе, с оптимистической речью главной шишки и дозволенными шуточками его подчиненных. С полотенцем, обмотанным вокруг шеи на манер шарфа, я обследую территорию поблизости от стула, на котором сидел десятью минутами раньше. Пуля, ободравшая мне затылок, торчит в стене под обоями. Я нашел и вторую — в деревянной стойке книжного стеллажа. Других пока не вижу, и это соответствует количеству звуков, которые я успел уловить. Выстрелов, как таковых, я не слышал. Линия прицела указывает на террасу. Даже не имея ни малейших баллистических понятий, я все-таки могу сообразить, что стреляли оттуда, от гуляк.

Я скатился по лестнице с мерзейшим ощущением, что моя рана вот-вот прорвется. Заметил пару ночных пташек, лихорадочно целующихся, прижавшись к капоту сестренкиной машины. Когда девица увидала мое лицо — одутловатое, залитое потом, обмотанное окровавленным полотенцем, — то здорово перепугалась. Долго упрашивать их убраться не пришлось. Проскочив несколько раз не на тот свет, я добрался до пятнадцатого округа и свернул на улицу Конвента, газуя как сумасшедший. Я старался не глотать, не кашлять и не шевелить головой, убежденный, что кровотечение не замедлит вновь открыться от малейшего толчка. Я разбудил одну свою знакомую медсестру, которая не стала задавать слишком много вопросов о происхождении раны. Видя мое состояние, она сначала заставила

меня проглотить какую-то таблетку, не сказав, что это транксен. Потом сделала перевязку, побожившись, что накладывать швы не понадобится. Обратный путь я проделал, обуздав себя ремнем безопасности и не превышая сорок пять в час, поскольку до меня только теперь дошло, что я все еще живой. Я оставил машину напротив своего дома и поднялся по лестнице до «Салонов Ларош», не дожидаясь лифта. Трое последних официантов попытались было помешать мне пройти на террасу.

— Вам-то какое до этого дело? Ведь ваш дурацкий банкет уже кончился! К тому же вы все равно пускаете сюда кого попало! Достаточно увидеть снизу свет и подняться — никаких проблем. Спорю, кто угодно может это проделать. Помяните мое слово, в один прекрасный день вы пустите сюда убийцу!

Обалдев от таких слов, они прекратили попытки мне воспрепятствовать. С высоты террасы я смог увидеть и свой рабочий стол, все еще освещенный, и большую часть комнаты. Мне показалось даже, что я мог бы туда запросто допрыгнуть. А минуты через две я уже рухнул в свою постель, задернув поплотнее шторы.

Не стоит искать слишком далеко, просто этот виноградник проклят. Дарио и сам-то не слишком долго этому сопротивлялся, а я так чуть не отдал концы буквально через два часа после того, как получил его по завещанию. Видимо, всякий, кто становится владельцем этих чертовых арпанов, обречен на неминуемую гибель. В каком-то смысле это лишь усиливает мои сомнения по поводу пресловутой тяги к земле, овладевшей вдруг Дарио. Тут ставка будет повыше, чем думает мадам Рафаэль. Наверняка Дарио пронюхал, что этот клочок земли пахнет деньгами, иначе не стал бы делать из себя шлюхача в такой спешке. Что касается меня самого, то я тоже спешу, но только избавиться от этого подарка, и как можно скорее. Этот мерзавец Дарио не оставил мне выбора. Он-то знал, что там кроется какой-то подвох. Так что спасибо за подарочек. Я из-за него чуть не загнулся. Кто-то меня уже ищет. И этот кто-то может оказаться где угодно — например, на углу улицы. Может поджидать меня на выходе из дома. И что самое худшее, пока я не избавлюсь от этой головоломки, мне придется покинуть Париж.

*

Ворота Шуази. Миновав пояс окружных бульваров, я сразу почувствовал, что углубляюсь в царство печали и скуки. Честно говоря, я бы вообще предпочел закрыть глаза, лишь бы не видеть, как в нескончаемом движении разворачивается передо мной эта шестикилометровая лента, которая ведет прямиком к улице Ансельм-Ронденей.

Ты нагоняешь тоску, предместье. Само по себе ты ничто. Ты обращено лицом к Парижу, а задом к деревне. Ты не более чем компромисс. Ты словно придорожный бурьян. Но сильней всего я виню тебя за то, что ты воняешь работой. Одной только работой. Для тебя существует лишь утро, и ты объявляешь сумерки сразу же по выходе с заводов. Ты отыскиваешь путь, ориентируясь по своим трубам. Никогда не слыхал, чтобы кто-то пожалел о тебе. У тебя просто не было времени, чтобы придумать себе что-нибудь для мало-мальски пристойного существования. Ты не старуха, но у тебя нет ни на грош терпения, и тебе хочется всего сразу — побольше да потолще, — и у тебя всегда полным-полно места для всяких там «супер» и «макси». Единственное, что тобою управляет, это безумие твоих архитекторов. Это они дают мне средства к существованию со своими макетами, которые посвящают тебе. Мозаика преисподней. Они буквально упиваются тобой — это пир, вакханалия, оргия, изгнание глистов. Они обжираются пространством. Вот отличное местечко для футурологического поселка, рядом с зоной первоочередной застройки, неподалеку от пестренькой гимназии, между микрорайоном в стиле пятидесятых, который ждет не дождется экспроприации, и коммерческим центром, уже успевшим сменить свое название раз

двадцать. А может, тут проложат по чьей-нибудь прихоти новое, совершенно дикое ответвление автострады, которое все подомнет под себя? И ты в своем праве окончательно наплевать на гармонию — ее в тебе никогда не было и никогда не будет. Так пусть же все эти авангардисты, вдохновленные каким-нибудь новым облицовочным материалом, дадут тебе хоть иллюзию нового рождения. Пусть себе стараются. Ведь ты и не умрешь никогда. Ты просто распространишься еще дальше, сожрешь походя еще район-другой. Но ты не подохнешь, нет. В этом-то и состоит твоя истинная реальность. Тебя невозможно обезобразить больше, ибо ты никогда и не имела образа.

Я застал свою мать за стряпней — она что-то тихонько напевала, готовя карбонару. Мы поели вдвоем, без телевизора, без томатного соуса, без вина и почти без слов. У моей матери большие способности к холостяцкой жизни. Мне даже доставило удовольствие видеть ее такой — отдалившейся от всего, с явным удовольствием смакующей свое одиночество. И ничуть не обеспокоенной тем, как я живу.

— Почему у тебя повязка на шее?

— Так, свело немного. Ревматические колики. Как будет «колики» по-итальянски?

— Torticollo. Твой отец прислал открытки. Вид на Перос-Гирек откуда-то сверху. Еще один, с водолечебницей на переднем плане. В общем, такие же, как и в прошлом году. Он почти ничего не пишет. Похоже, доволен.

Я быстренько свернул с этой темы, задав вопрос о том, как она теперь располагает своим временем, выпроводив супруга. Оказывается, навещает мамашу Тренгони. Сначала они обе долго молчат, потом мать пытается заставить ее подышать свежим воздухом, но ей это никогда не удается. Сыщики больше не объявлялись, кумушки из квартала тоже перестали судачить о смерти Дарио, и все, кажется, вновь вернулось на свои места.

— Добавь пармезану, Антонио. Сыр с карбонарой хорошо идет.

Она согласна на что угодно, только бы не готовить томатный соус. С тех пор как отец уехал, она пользуется своей свободой, чтобы отдохнуть от всего приевшегося, набившего оскомину. Как сегодня. Свежие сливки, яйца, пармезан, ломтики сала, и все это перемешано со спагетти. Быстро, вкусно, питательно.

— А ты знаешь, почему это называется «карбонара»?

— Потому что в последний момент всегда надо добавлять черный перец. Получается черное на белом, вроде как угольной пылью присыпано. А шкварки будто угольки.

Она улыбается. Думаю, это ее заблуждение, но не хочу переубеждать. На самом-то деле это из-за карбонариев, которые устраивали свои тайные сборища в лесах. Они были хорошие конспираторы и изобрели это блюдо, чтобы не возиться подолгу со стряпней во время собраний. Но моя мать не имеет ни малейшего представления ни о тайне, ни о конспирации.

Бросив взгляд на часы, она вдруг заявляет, что сейчас зазвонит телефон. Что и не замедляет случиться. Она снимает трубку без малейшей спешки. Старик на том конце провода даже не сомневается, что я стою рядом и держу наушник. Похоже, он там вновь обрел свое утраченное было добродушие. И в самом деле, после сорока лет брака он, как и моя мать, снова испытывает удовольствие от сольного существования и от встреч с приятелями. Я спросил у него как бы между прочим, знакомо ли ему вино Сант'Анджело.

— А в чем дело? Ты его не пил случайно? Вот, стоит только уехать, сразу начинаешь делать глупости…

Он хохочет. Я его не поддерживаю. Вяло пробую отшутиться и кладу трубку.

*

В течение последующих четырех-пяти дней я блуждал по кварталу в поисках хоть чего-нибудь — воспоминаний, впечатлений, фактов. Я обошел всех старых приятелей, выходцев из Соры и Сант'Анджело, подолгу точил лясы с их родителями, а иногда даже с их дедами и бабками. Некоторые упоминали о винограднике и рассказывали легенду о Сант'Анджело, которая передается из поколения в поколение. Сора — это захолустное местечко, имеющее всего три достопримечательности. Первая: особая местная обувь, которая кроится из старых покрышек для грузовиков и шнуруется наподобие старинных сандалий. Вторая: явление в конце восемнадцатого века некоего святого, ставшего потом покровителем виноградника. И третья: начиная с сорок пятого года почти поголовная иммиграция всех здоровых мужчин, вернувшихся с войны. Среди них был и мой отец, как, впрочем, и почти все остальные, обосновавшиеся в Витри. У семейства Гуччо я справился об их американском родиче Джузеппе Парини, о том самом, который до недавнего времени владел одним гектаром виноградника. Собственно, говорить о нем было нечего, кроме того, что он совершенно забыл Европу и ему совершенно начхать на все, что тут творится. У него там два-три своих завода и целая сеть закусочных, так что с итальянцами из Италии у него осталось мало общего. Это все и объясняет. Я предпочел не настаивать. Мамаша Тренгони даже впустила меня в комнату Дарио, где я, впрочем, так ничего и не нашел, кроме скверного фото мадам Рафаэль, удачно запрятанного в конверт от пластинки-сорокапятки.

Я повидался с Освальдо, который укладывал первые кирпичи своего дворца, своего монумента, своего Ксанаду. Он вкладывает в эту работу всю свою душу. И вкалывает совершенно один, без какой-либо помощи, кроме разве взгляда своего сынишки, которому сейчас едва ли три года от роду, но который уже ждет не дождется la casa.[10] Надеюсь все же, что Освальдо как-нибудь сумеет выгородить там клетушку и для самого себя, где-нибудь между кухней, гостиной и детской. Потому что итальянские папаши, несмотря на все свои грозные голоса, постоянно разрываются между культом матери и культом детей и частенько при этом забывают самих себя. Единственное, что я мог — это пожелал ему мужаться.

Я заночевал в отчем доме и был изрядно смущен, вновь обнаружив свою старую постель, старую спальню, старую настольную лампу и старый телик, который мне никогда не запрещали смотреть. Одно точно: тот, кто покушался на меня прошлой ночью, здесь до меня не доберется. Можно подумать, что даже убийцы обходят предместье стороной. Начинаю понимать, что хотел сказать Дарио своим «моя улица длинна». Без сомнения, он имел в виду итальянскую диаспору, которая рассеялась повсюду, где только можно устроить себе крышу над головой, не пропустив ни одного закоулка вселенной. На одной только улице Ансельм-Ронденей я установил прямые связи с тремя континентами. Достаточно было потолковать с одним парнем, у которого есть брат, а у того — лучший друг, который неплохо обосновался, и ты тоже можешь бросить там якорь, если у тебя возникнет однажды такое желание. Дарио это знал, и он тоже мог бы выращивать бычков на ранчо в Австралии, или красить заборы в Буэнос-Айресе, или торговать сыром в Лондоне, или работать на шахте в Лотарингии, или основать свое маленькое дело в Чикаго — что-нибудь вроде срочной чистки-уборки. В ожидании лучшего он предпочел заделаться шлюхачом в Париже.

Лучшего. Какого такого лучшего? Отныне именно мне надлежит найти ответ на это.

Мое решение принято уже давно. Мне просто необходимо догадаться, что же все-таки знал Дарио о том клочке земли. Именно эту дань я обязан заплатить, если хочу когда-нибудь почувствовать себя свободным. Если хочу понять, что такое до сих пор скрывает мой отец. Мне предстоит уладить дела с родной землей. Макеты вполне могут подождать еще месяц. Сбежать из Парижа меня уже вынудили. Завтра сбегу из Франции.

Но я узнаю.

*

Прежде чем попрощаться, я спросил у матери, доставит ли ей удовольствие, если я вернусь в Сору.

— Чтобы жить? — спрашивает она удивленно.

— Да.

Она надолго замолкает, растерявшись после столь неожиданного вопроса. Я даже побоялся, как бы она не разволновалась.

— А зачем? Мы же все теперь здесь… Никого из наших там не осталось… Ты сам — француз. Так зачем тебе снова начинать всю эту мороку — оформлять бумаги, переезжать, искать дом, работу, невесту, пытаться поладить с соседями и все такое. Оставайся уж лучше здесь. Сама-то я туда даже погостить не поехала бы.

На следующее утро я оставил ее в неведении и беззаботности.

*****

Палатино. Отправление в 18.06. Самый популярный поезд на линии Париж — Рим. Словно нарочно придуманный для всех тех итальянцев, которые живут вокруг Лионского вокзала. Они говорят о нем как о старой, заезженной кляче, но которая все-таки каждый раз благополучно дотягивает до стойла. Моя последняя поездка на нем относится к одиннадцати-двенадцатилетнему возрасту. Мне тогда показалось, что он тащится туда немыслимо долго, а обратно и того дольше.

— В каком часу прибываем в Рим? — спрашиваю я.

Молодой чернявый парень в сидящей мешком форменной тужурке со значком «Спальных вагонов» на отвороте и в неизменно дурном расположении духа бросает на меня такой раздраженный взгляд, словно отвечает на этот вопрос уже раз в двухтысячный:

— В 10.06, если итальянцы не задержат.

— А такое случается?

Он ухмыляется вместо ответа.

— Должно быть, утомительно работать в ночных поездах, правда? — интересуюсь я.

— Вот когда намотаете по рельсам четыре кругосветки, тогда и поговорим.

Он выходит из купе, пожимая плечами.

Нас пятеро: чета итальянцев-молодоженов, возвращающихся из свадебного путешествия, чета французов-отпускников, которые едут в Рим первый раз в жизни, и я. Мои попутчики очаровательны. Обе пары пытаются общаться между собой с помощью жестов и улыбок и даже предпринимают определенные потуги слепить фразу, которую противоположной стороне всякий раз удается разгадать. Иногда, правда, попадается словцо, которое ставит их в тупик, но о том, чтобы я вмешался, и речи быть не может. Это лишило бы меня последнего, хоть крохотного развлечения. Время от времени я дремлю, убаюканный поездом, и тогда забываю, что вынужден покинуть страну и город, которые люблю, на совершенно неопределенное время. Я, правда, убеждаю себя, что все это пустяки, и даже трижды пустяки по сравнению с тем, что пережили мои дед с отцом. Для итальянцев изгнание — дурная привычка, какая-то нелепая мания. Не вижу, почему я должен избегнуть общего правила. На ум приходят воспоминания детства. Всплывают в памяти все эти переезды, которые я сам и не пережил. Опять во мне оживает отцовский голос, как бывало порой вечерами, когда ему приходила охота порассказать о себе.

…Уехать? Еще до того как я родился, мой отец уезжал в Америку, за долларами. Потом уехали братья. Когда настал мой черед, шел как раз 1939 год, и я все-таки уехал, но только не

за состоянием, а чтобы научиться держать ружье под знаменами. Дело было на севере, в Бергамо, и говорили там на всех, какие только есть, диалектах. По счастью, я нашел земляка, парня из нашей округи, так что было с кем поболтать по-нашему хоть тайком, потому что разговаривать на наречии начальство запрещало. Мы с ним стали compari — кумовья — это словечко у нас означало как бы обещание дружбы. Вечерами мы таскались в верхний город и там глазели, как фашистские вояки дрались с альпийскими стрелками, с этими, у которых перо на шляпе. Из нас они были единственные, которые могли утереть нос молодчикам Муссолини. Для чернорубашечников все было задаром, они входили в любую киношку или бар и кричали: «Дуче платит!» Может это и было первой причиной, которая сразу же заставила меня возненавидеть этих подонков. Но с настоящей войной все это еще не имело ничего общего. Мне в сорок первом году даже отпуск дали, чтобы я мог повидаться со своей невестой. А потом отправили нас с компаре, с куманьком, знаешь куда? В какую страну? Ни за что не догадаешься… Да я и сам не знал, что где-то есть такая… Вот там-то я и понял по-настоящему, что значит уехать…

Меня трясут за плечо. 10.34. Roma Termini.[11] Еще не сойдя с поезда, я уже чувствую что-то такое, чему пока не нахожу определения. Может, это просто летняя жара, некий странный запах… запах летней жары, очень яркий свет… не знаю. Толпа на перроне. Смотрю на переплетение всех этих рук на спуске с подножек вагона. Перила почти раскаленные. Зеленые вагоны поезда напротив сверкают на солнце. Вдалеке, под сенью навеса, пространство сереет. Вокзал похож на аквариум, огромный, совершенно квадратный и довольно неопрятный. Он гудит и кишит оживленными туристами, уже потными и распаренными. Пока это лишь преддверие, свободная зона, царство суеты и сомнительного предпринимательства. Обменяв несколько банкнот, решаюсь вынырнуть из аквариума. Слева и справа две световые арки — два выхода, и я колеблюсь, какой из них выбрать, чтобы вступить, наконец, в эту страну.

Я выбрал левый, ближний, через который следовало большинство, потому что он ведет прямо к конечной остановке автобусов. На одно мгновение застываю в неподвижности на пороге вокзала, не осмеливаясь пересечь улицу. На противоположном тротуаре — уже Рим, я узнаю его, еще даже не зная по-настоящему. Старые охристые стены, трамвайная линия, какое-то кафе, где сидят двое стариков, спрятав головы в тени навеса и выставив ноги на солнышко, маленькие нервные авто, понукающие друг друга гудками. Убеждаю себя, что мне как раз туда… Чтобы добраться до автобуса, иду по Виа Принчипе Амедео, присматриваясь к каждой лавчонке и пытаясь понять, совпадает ли это со смутными воспоминаниями, оставшимися у меня с детства. В полумраке парикмахерской лежит, откинувшись в кресле из-за отсутствия клиента, брадобрей, в позе словно для мытья головы, и читает газету. Миную двух цыганок, которые тянут ко мне руку. Под вывеской «Pizza & Pollo» сидят рабочие и грызут куриные ножки, не переставая орать друг на друга на диалекте, который не слишком отличается от того, на котором говорят мои родители. Но я прохожу слишком быстро, чтобы успеть разобрать, в чем там дело. Пересекаю улицу по солнечной стороне. Вдалеке виднеется цепочка автобусов, мой отходит около одиннадцати, так что еще остается немного времени. Возле столбика с указателем направления на Сору уже толпятся семьи, навьюченные чемоданами и детьми. «Dieci minuti! Dieci minuti, non c'è furia! Non c'è furia!»[12] — кричит шофер толпе, которая пытается втиснуться в его экипаж всеми доступными средствами. Замечаю неподалеку от остановки еще одного брадобрея, такого же праздного, как и первый. Провожу рукой по своей щетине.

Он поворачивает нос в мою сторону. Самое время выяснить, удастся ли мне его провести и сойти за местного, а не за туриста. Его-то итальянский кристально чист. Ни намека на акцент.

— Побрить или постричь, signore?

— Побрить.

— А в котором часу отходит ваш автобус?

— Через десять минут.

— Чудесно.

Пока я вроде бы неплохо справился с первыми словами, произнесенными на заальпийской территории. Если чуть-чуть повезет, он, может, и не догадается, что я француз. Он накрывает мне лицо горячей салфеткой, точит свой тесак, обмазывает мне лицо мыльной пеной. Лезвие поскрипывает на моей щеке. Так меня бреют в первый раз. Это приятно. Правда, когда он добирается до адамова яблока, я замираю. Но его горячая бритва точна.

Вдруг налетел порыв ветра. От сквозняка хлопнула дверь, а стопка журналов, положенных на край раковины, слетела на пол. Лезвие не отклонилось ни на миллиметр.

Флегматичный, непоколебимый, он всего лишь соизволил процедить:

— Per Bacco… Ché vento impetuoso!

«Клянусь Бахусом, какой буйный ветер!» Здесь, в Италии, я это слышу на каждом шагу.

Две минуты спустя моя физиономия становится глаже, чем стекло. Цирюльник улыбается мне и спрашивает небрежно:

— Вы случайно не из Эй-ле-Роз? Или из самого Парижа?

Немного смущаясь, отвечаю, что из второго. В первом у него наверняка какой-нибудь родственник.

Расплачиваюсь, пристыженный, что был разоблачен так быстро. Пока еще не знаю, сколько придется тут пробыть, но, право, было бы лучше, если бы меня принимали за уроженца здешних мест. Прежде чем я покинул его заведение, брадобрей наградил меня неподражаемым «Оррэвуар, мэссие!», явно желая показать, что и он тоже поездил по свету. Толпа на остановке испарилась, зато внутри стекла автобуса запотели. Свободным осталось лишь откидное сиденье рядом с водителем. Он трогает и, обливаясь потом, подмигивает мне со словами:

— Attenzione! Ми проезжатти мимо сам Колизео!

Действительно. А вскоре после того, как автобус проезжает Колизей, начинается сельская местность. Старый рыдван минует деревню за деревней, понемногу высаживая всех тех, кто прибыл тем же Палатино, что и я. А взамен вышедших сажает крестьян, женщин с огромными корзинами и ребятишек, возвращающихся из школы. Все тонет в веселой какофонии, все болтают между собой, меняются местами, чтобы усесться поближе к знакомым, словно целая деревня вдруг оказалась в одном автобусе. Какая-то женщина, сидящая прямо позади меня, рассказывает, заливаясь смехом, какие-то байки с птичьего двора, чем удерживает внимание всего автобуса последние десять километров. Я тоже смеялся вместе с остальными, даже не понимая ее слов как следует, и воображал себе: а что было бы, если бы мой отец отсюда не уехал? Вот этой женщиной с медной шеей, размашистыми движениями и заразительным смехом могла бы быть моя мать. А сам я мог бы быть вон тем молодым парнем в желтоватой майке, который читает «La corriere dello sport» и грызет зубочистку, не обращая на окружающий его тарарам ни малейшего внимания. А мой отец был бы сейчас в лесу и присматривал за тем, как работают молодые, в ожидании своей тарелки макарон. Но вот чего я все-таки не могу представить, так это себя в шерстяной майке. К тому же я не люблю футбол и всегда находил зубочистки вульгарными.

Я сошел на конечной остановке, в Соре. Сант'Анджело — это прилегающая к ней маленькая деревушка километрах в трех к северу. Единственное, что я помню о Соре, это речку под названием Лири, четыре моста через нее да три кинотеатра, в которых тогда меняли фильмы каждый день. Свободных мест всегда оставалось больше, чем жителей

вообще. На балконе можно было курить, зато строжайше запрещалось приносить с собой пиццу. Один из залов напоминал столичный «Рекс», другой специализировался на античных «пеплумах» серии «Б», а в самом маленьком шла порнуха и фильмы ужасов. Помню один сеанс «Отчаянной племянницы», когда киномеханик позволил разъяренной публике чуть ли не линчевать себя из-за того, что у него свет погас в ту самую минуту, когда означенная племянница как раз собиралась дать доказательство своей отчаянности одному мордовороту, предложившему ей выбор между его членом и топором. Так никто и не узнал, чем там дело кончилось. Когда я вернулся во Францию, мне даже слов не хватило, чтобы объяснить, что способен вытворять на экране род человеческий. И только Дарио смог подтвердить мои слова. Кино тогда было неотъемлемой частью провинциальной жизни, как бы частью самого крестьянина, его буден. Но сегодня я вижу одни только параболические антенны на крышах, а все три кинотеатра исчезли. Самый большой превратился в магазин по продаже садовых культиваторов, и я задаюсь вопросом: а что теперь делают местные мальчишки, чтобы насладиться запретными образами?

Уже слишком жарко. Моя дорожная сумка весит целые тонны. Одет я по-парижски, и на меня пялятся, как на заблудившегося туриста, не понимая, что бы значило мое появление. Что я нездешний — написано у меня на лбу. Однако городишко оказался даже приятнее, чем в моих воспоминаниях. Большое разнообразие в окраске стен, в архитектуре, в расположении всяких лавчонок. Когда я был мальчишкой, я всего этого как-то не замечал. Впрочем, мальчишки вообще ничего не замечают, кроме лотков с мороженым и кинотеатров. Я истекаю потом. Я голоден. Я ощущаю запах горячей кухни, доносящийся из ближайшей пиццерии. Откуда-то неподалеку веет ароматом рассола. Горы желтых оливок. А на пьяцца СайтаРеститута продавец арбузов разгружает свой грузовик, скатывая плоды по широкой доске. Слегка обалдевший, неспособный решить, что же мне сейчас больше хочется — поесть, попить или поспать, я присаживаюсь у фонтанчика. В совершенном одиночестве. Кроме меня, в этот час никто больше не осмеливается тягаться с солнцем.

Вывеска: Pensione Qadrini. Про этот пансион мне говорили, что там вполне можно остановиться. Ворота, ведущие в крошечный внутренний дворик, где в углу свалены в кучу несколько ржавых велосипедов и один мопед. Маленькая темная лестница и сразу же кухня, где молодая женщина жарит на сковородке кабачковые цветы, не отрываясь от телевизора. Она вытирает руки о передник и спрашивает, чего мне угодно. Будто я оказался здесь ради ее кабачков. Комнату? Ах да, комнату! Их тут целых четыре. Вот и все, чего я смог от нее добиться. Несмотря на некоторое воодушевление, чувствую, что ей слегка не по себе, она краснеет, избегает смотреть мне в глаза. Нас обволакивает запах ее стряпни. Она явно не привыкла к туристам и наверняка спрашивает себя, кто бы это мог притащиться сюда в самый разгар августа. Но в общем все происходит довольно быстро. Мы не успеваем даже поторговаться. У меня впечатление, что она хочет разделаться с этим как можно скорее. А я при малейшем препятствии готов пойти на попятный. У меня нет ни малейшего желания нарушать чей-либо покой сразу же по прибытии. Я следую за ней в крошечную комнатку, чистенькую, с молитвенником на ночном столике и благочестивой картинкой, пришпиленной над кроватью. Синьорина Квадрини вешает рядом с умывальником полотенце и говорит о горячей воде, точнее, о том, что в некоторые дневные часы ее не бывает. Потом роется в кармане своего передника и протягивает мне ключ на тот случай, если я вернусь после одиннадцати часов вечера. Я подумал было, что она заговорит со мной об оплате и о сроке моего пребывания в этих краях, но она вернулась на кухню к своей стряпне.

Вот в какое странное место я попал. Интересно, а настоящие, взаправдашние итальяшки сильно отличаются от нас, отступников?

Кровать скрипит, равно как, кажется, и мои собственные кости, одеревеневшие после ночи на вагонной кушетке. Никто не знает, что я сейчас торчу в этой дыре. Да я и сам не очень-то в этом уверен. Надо бы мне тут пообвыкнуть скорее, если я хочу что-то понять.

*

Бумаги на владение землей разбросаны по полу, я изучаю их в сотый раз. Выписка из кадастра, землемерный план, мое имя, опять мое имя и опять мое имя. Вот из-за этих трех бумажек и погиб Дарио, да и сам я только чудом миновал кладбище Прогресса. За эти дни у меня в голове сформировалась как бы мысленная фотокопия моих земель, но теперь, когда до них рукой подать, я всякий раз содрогаюсь, как подумаю, что настала пора набраться храбрости и взглянуть на них собственными глазами. По сравнению с этим полторы тысячи километров между Римом и Парижем — сущий пустяк. Границы моих земель. Моих земель. Порой мне удается свыкнуться с этой мыслью, как бы внутренне овладеть ими, убедить себя, что в этом обладании есть даже какое-то величие. Хотя на самом деле я испытываю один только страх.

Средиземноморские рефлексы быстро возвращаются ко мне. После короткой сиесты я вновь вышел на улицу. Часов пять вечера, лучшее время суток. Настает тот момент, когда ты осмеливаешься, наконец, высунуть нос наружу, когда тебя охватывает желание смешаться с другими, поболтать в людном месте, сидя где-нибудь на террасе со стаканчиком холодного красного в руке. Ты уже можешь вытерпеть прикосновение к телу собственной рубашки и больше не опасаешься делать разнообразные движения. Ты прогуливаешься. Я выпил кофе на площади, прямо напротив водоема, куда сбилось все молодое поколение городка. Девушки, рассевшиеся на ограждении фонтана, позволяют заигрывать с собой парням на мопедах. Люди едят мороженое. Все это не слишком отличается от того, что я знавал здесь еще мальчишкой. Чувствую себя уже не таким чужаком, как сразу по приезде.

Вдруг меня охватывает внезапный порыв, и я принимаюсь шагать по обочине дороги, ведущей в Сант'Анджело. Сам не понимаю, что на меня нашло, но ко мне словно вернулось мужество, словно я почувствовал, что все должно вот-вот разрешиться. По дороге я попытался мысленно перебрать еще раз свои предположения касательно этой земли. Но их было слишком много. Больше сотни, больше тысячи.

Но ведь скрыто же в ней что-то, закопано какое-то сокровище, миллиарды, золото, драгоценности, слитки, лежащие там с войны, Святой Грааль, трупы человек тридцати, пропавших без вести, какое-нибудь неоспоримое доказательство виновности целой кучи людей, что-нибудь такое, что было бы лучше вообще не извлекать на свет Божий. Из-за чего меня самого чуть не подстрелили.

Но если в этой земле действительно сокрыто нечто такое, то почему бы просто-напросто не устроить туда ночную экспедицию с кирками да лопатами — и готово дело. Лишь бы эта штука оказалась не слишком велика, лишь бы можно было откопать ее тайком. А вдруг там действительно имеется что-то, что принадлежит мне по праву. Может, я миллиардер и сам того не знаю. Но на кой черт оно мне сдалось, если будет стоить пули калибра девять миллиметров в башку?

Еще несколько метров. С выпиской из кадастра в руке я углубляюсь в крошечную рощицу. Теплынь, в нос бьют какие-то незнакомые запахи. Огибаю кусты со странными ягодами. Сердце начинает учащенно колотиться. Меж двух дубов вижу вдалеке нечто вроде полянки, которая вполне может оказаться моей собственностью. Солнце еще довольно высоко. За добрые полчаса я не повстречал ни одной живой души.

Точно. Это он.

Аккуратный. Скромный. Отнюдь не бесконечный. Все его очертания можно охватить одним взглядом, не поворачивая головы. Он кончается у подножия холма. Подпорки у лозы прямые, гроздья, хоть пока и зелены, уже вполне заметны. Неподалеку какое-то строение, напоминающее старый амбар. И разумеется, никакого забора, огораживающего все это. Хотя кому они понадобятся, в конце-то концов, эти четыре неогороженных гектара земли, которые

можно окинуть одним взглядом и обойти за одну короткую прогулку. Если ты сюда явился не специально, не ради них, ты их даже не заметишь. К тому же виноградник окружен хлебным полем, гораздо более обширным, чем он сам. Сколько же нужно человек, чтобы его возделывать? Два-три, не больше. Подхожу к амбару, стараясь не ступать по земле, словно забочусь о ней больше, чем о собственной обуви. Амбар даже не закрыт. Внутри давильня, кой-какой инвентарь да несколько бочек, очевидно пустых. Так ли ужасно это вино, как о нем говорят? Это ж надо умудриться делать плохое вино при таком ландшафте и таком солнце. И почему никто не попытался его улучшить и сделать из него что-нибудь приличное? Ведь, как мне кажется, имея хоть немного желания, немного денег и немного знаний, можно даже уксус преобразовать во что-то удобоваримое. При этом сам себя я ощущаю чужаком, вторгшимся в чужие владения, которого местные поселяне вот-вот шуганут выстрелами из ружей и сдадут карабинерам. Хотя я тут нахожусь на самых законных основаниях. Можно сказать, у себя дома, со всеми необходимыми бумажками на руках, чтобы доказать это. Войдя в амбар, я обнаруживаю посреди вороха соломы закупоренную бочку, от которой исходит кислый винный дух и которая кажется мне полной доверху. Хочу отпить из нее хоть глоточек, но не знаю, как за это взяться, не расплескав половину содержимого на землю. Вижу неподалеку черпак, молоток и большой плоский камень. Для начала надо поставить бочку вертикально, а она, похоже, весит целый центнер.

Но в тот самый момент, когда я к ней приближаюсь, вдруг раздается какое-то замогильное урчание. Хриплый вой, который отзывается эхом в каждом углу.

И я с перепугу крысиной трусцой спешу назад. Вопль повторяется еще раза два и переходит в утробное рычание. В нечто такое, в чем с трудом угадывается человеческий голос. Но я все-таки сумел уловить пару невнятных слов.

— Chi é!!!Chi é? Chi é?

Если это «что-то» спрашивает, кто я такой, значит, оно не такое уж страшное. Вернувшись к бочке, я обнаружил там чью-то маленькую толстощекую башку с кругленькими черными очками на носу и всю лоснящуюся от выпитого вина. Дородное тело оставалось погребенным под соломой. В общем, какой-то малый лежит, распластавшись на земле меж двух пустых бутылей. Хотя одна из них еще полна на четверть и находится в пределах досягаемости от его ротового отверстия. Похоже, он как раз прикладывался к ней, когда я его спугнул. Пытаюсь перехватить взгляд незнакомца, но смешные круглые очки совершенно непроницаемы. Он слегка приподнимается, но на ноги не встает. Он космат, зарос грязной бородой, одет в дурацкую куртку и гнусные опорки. Никогда бы не подумал, что тут тоже водятся бомжи. Он проделывает серию неудачных движений, чтобы встать, нашарить что-то под соломой и, главное, посмотреть в мою сторону. Наконец понимаю, что он мертвецки пьян, и тут-то он натыкается коленками на какую-то невидимую вещь, и та издает негромкое дребезжание — несколько фальшивых нот. Он разражается хохотом, шарит по земле и вытаскивает эту тренькающую штуку. Банджо. Положив его к себе на колени, он пялится в мою сторону, широко разинув рот, совершенно счастливый. Потом улыбается в пустоту растерянно и печально. У меня такое впечатление, что он глядит не на меня, а мимо, промахнувшись на добрых три метра.

— Меня зовут Антонио Польсинелли.

— Отродясь не слыхал такого имени, синьор. Но это неважно. Так даже лучше! Вы тут проездом?

— Да.

— Тем лучше!

Он царапнул струны и сказал:

— Вы такого никогда не слыхали. Я вам сейчас сыграю кусочек. Я это сам сочинил. Кусочек всей моей жизни, вот что это такое. Это такая песня. Грустная вещь. Называется: «Как я цвета покупал».

Слегка наклонив бутыль, он целые литры вина расплескал по земле, а потом затянул свою песню:

Хлебное поле черно,

Дневное небо черно, ночное тоже.

Как-то грустно, все видеть в черном.

Ветер, солнце и дождь.

Пошел я на рынок, чтобы купить цвета,

Но торговец сказал: давай-ка плати!

А деньги цвета какого? Я даже это не знаю.

Однажды пришел человек,

Он тоже был черен.

И он мне сказал:

Ты скоро увидишь все золотым.

Я бы все свои гроши отдал за одну радугу.

Но он умер.

А я, чтоб утешиться, начал петь и играть.

И прохожие по доброте кидали мне мелочь.

Тогда, чтобы забыть черноту

И остальное.

Пошел я на рынок, чтоб напиться вина.

Но торговец сказал:

Красного нет, выпей белого.

Какая разница такому слепому, как ты,

Какого цвета бутылка…

Вдруг в амбаре прогремел выстрел, вновь исторгнув у меня возглас удивления.

Слепой умолк, напряженно застыв на коленях. Мне даже показалось, что он ранен.

В дверях — черный силуэт с ружьем в руках, все еще направленным в нашу сторону. Мы со слепым так и застыли на месте, оглушенные и ошарашенные.

Человек с ружьем медленно приблизился и в припадке невероятной ярости двинул слепого прикладом по ребрам. Хриплый стон боли. Я не сделал ни единого движения.

Меня охватил страх. Я боялся всего сразу: выстрелов, насилия, слепого с его песнями, этого незнакомца, наконец, который с таким удовольствием бьет убогого калеку, распростертого на земле.

Пинки, ругательства. Я ненавидел себя за то, что не осмелился помешать этому избиению.

Потом он вытолкал слепца из амбара и зашвырнул его банджо как можно дальше. Сломал о колено длинный сук, который служил калеке посохом, и повернулся ко мне:

— Синьор — новый хозяин участка?

Отточенный итальянский, немного даже чересчур академичный. Можно подумать, будто это мой собственный отец заговорил по какому-то торжественному поводу. И опять это почтительное обращение в третьем лице, слишком вычурное, которое употребляют при обращении к гораздо более старшему собеседнику, чтобы подчеркнуть свое к нему уважение.

На какой-то миг, потеряв дар речи, я даже руки опустил, не понимая, действительно ли он обращается ко мне или еще к кому-то, притаившемуся за моей спиной.

— Этот слепой — неплохой малый, но я уже в тысячный раз выгоняю его из виноградника. Вечно он тут все бочки попереворачивает, а Джакомо, виноградарь, не может же сторожить здесь каждый день.

— Может, все-таки не стоило его так бить…

— Подумаешь. Если бы я этого не сделал, он бы уже через два часа снова был тут.

— Ну и что?

Он слегка кривится, раздраженный моим ответом.

Без сомнения, настоящий «хозяин», как он говорит, должен уметь заставить уважать себя. Потом он вновь как бы надевает свою невыносимую улыбку.

— Надо суметь сразу же поставить себя, иначе потом будут одни неприятности. Меня-то слепой хорошо знает, ну и… По воскресеньям я подаю ему тысячу лир на рынке. Если послушать все, о чем он болтает…

— А вы сами кто будете?

— Синьор Марио Манджини. Это я продал тот кусок земли, которым сейчас владеет синьор.

Он протягивает мне свою руку. Все еще не оправившись от потрясения, я тяну свою.

— Синьор Польсинелли хорошо знал покойного?

— Вы ведь и так уже обо всем наслышаны. Даже о моем имени.

Он пускается в небольшой, но обстоятельный рассказ. В общем, ничего удивительного. Дарио приезжал сюда из Парижа, чтобы выкупить за наличные клочок земли, в котором он совершенно не нуждался. О цене они почти и не спорили, так что вскоре пошли к нотариусу. А совсем недавно этого самого нотариуса предупредили по телефону (мадам Рафаэль, без сомнения), что в бумагах надо будет проставить новое имя ввиду смерти предыдущего владельца. Естественно, что эта новость тут же распространилась среди тех, кто имел отношение к земле.

Манджини закончил свою речь, добавив, что рано или поздно он все равно встретился бы с «новым хозяином».

— Дарио вам объяснил, конечно, зачем ему понадобились эти гектары?

Он ухмыляется.

— Сначала я и впрямь пытался это понять. Ведь из этого винограда, синьор Польсинелли, даже такому старому крестьянину, как я, и то никогда не удавалось сделать ничего путного, так что… О мертвых, конечно, плохо не говорят, но все-таки… не залетному французику с ним справиться, с этим виноградником…

Он говорит это с нескрываемой гордостью, с врожденным достоинством человека, никогда не отрывавшегося от корней и не унижавшегося до того, чтобы просить милостыню на чужбине. Наверное, есть особое достоинство в том, чтобы не сбежать. Не знаю. Пользуясь коротким молчанием, он вешает ружье на ремень и встает, прямой, как единица, как солдат по стойке «смирно». Пытаюсь определить его возраст, вполне безуспешно, впрочем. Надменный вид, точные движения и незаурядная сила, которую он обнаружил, когда давал взбучку слепому. Лицо, выдубленное солнцем, множество морщин, усталый взгляд. Может, лет шестьдесят.

— Польсинелли — это ведь итальянская фамилия, да и по-нашему синьор хорошо говорит. Как так получилось?

— Мои родители отсюда родом.

— А я-то засомневался было… Надо же. Польсинелли, таких здесь хоть пруд пруди… Как и Манджини, тоже полно, в трех разных семьях, по крайней мере. Вы знаете, что говорят об Италии? Что это страна скульпторов, художников, архитекторов, а также дядьев, племянников и двоюродных братьев…

Мы приближаемся к выходу из амбара. День склоняется к вечеру, хотя, казалось, наша беседа продолжалась не слишком много времени. Выйдя наружу, Манджини делает широкий жест рукой, очерчивая контуры владения.

— А развалюха, которую синьор видит вон там, это сарай для инструментов. Я ему туда даже заходить не советую. Такая рухлядь, что не ровен час кровля может обвалиться. Ни на что не годна. Я бы и пачки сигарет за нее не дал.

Когда я бросил взгляд на то, что он назвал сараем, мне показалось, что это галлюцинация.

Вот это… сарай? Да вы шутите! Скорее уж мираж. Невысокое, круглое, все из камня и резного дерева, с растрескавшимся куполом. Настоящая древняя руина — красивая и совершенно неуместная здесь, посреди всех этих полей. Ошарашенный, я некоторое время пытался подобрать слово, подходящее обозначение для такого рода построек, но не находил — ни на французском, ни на итальянском.

— Но это же… Можно подумать, что это…

— Ну да, часовня. Точно говорю, часовня. Разве синьора не предупредили?

Этот Манджини потешается надо мной, как школяр. Еще и пальцем показывает.

— А синьор-то, выходит, владелец святого места!

И он покатывается со смеху.

Вытянув руку, я направляюсь к часовне, словно зомби. Дверь будто поджидала моего толчка, чтобы тотчас же рассыпаться в труху.

— Пусть синьор все-таки побережется!

Из-за пыли я раскашлялся. Я прошел прямо к куче инвентаря, сваленного в беспорядке на выщербленные плиты пола — корзины, садовые ножницы… Мозаика — черно-розовая, поблекшая, хрупкая. А подняв голову, я даже икнул от удивления, увидев Его. Стоящего с распростертыми руками на каменном постаменте. Голова из облупившегося дерева. Щеки ввалившиеся и бугристые. Но глаза уцелели. Строгие, испытующие. Его белая туника распадается на глазах. Она изъедена молью, вся в дырах. Его плащ когда-то был синим, может, еще в прошлом веке. Очень ветхий святой. И лишь взгляд его пронизывает время. Взгляд, по-прежнему внушающий трепет. И словно для того чтобы избавиться от этого наваждения, кто-то развесил на его руках всякие серпы, крюки и прочее. Но даже этому хламу не удалось сделать его смешным. Тот, кто некогда придал святому этот взгляд, воистину знал, что такое страх Божий.

— Все цело, синьор Польсинелли? — кричит снаружи Манджини.

Выхожу, слегка ошарашенный.

— Вы не объясните мне, откуда тут эта часовня?

Он смеется.

— Завтра поглядим. О нем ведь уже больше ста лет никто тут не говорит, о разлюбезном Сант'Анджело, о заступнике нашем. Так что еще одну ночь он вполне может подождать. А вот хорошая прогулка…

В свете угасающего дня он направляется к холму.

— Еще раз добро пожаловать, синьор Польсинелли.

Скоро я уже ничего не могу различить сквозь листву, кроме отблесков на полированном прикладе его ружья. И вдруг оказываюсь один-одинешенек посреди этой Богом забытой

местности и без малейшего понятия, куда идти, чего желать. А я так уж устроен, что мне становится не по себе в любой незнакомой местности, как только опускается ночь. Мне для этого много не надо. Особенно когда вспоминаю обо всех этих изгнанниках, разбросанных по свету…

…Если бы мне раньше сказали, что есть такая страна, я бы сразу дезертировал. Им нужно было по десять добровольцев от каждого округа чтобы отправить в Албанию. Так я туда и попал. Никогда раньше о ней не слыхал. Даже сегодня не могу тебе точно сказать, где она находится. Где-то между Югославией и Грецией. Мы у себя в лагере слышали, что это, мол, как раз подходящий плацдарм для захвата Греции. Между нами нашелся даже один парень, который был больше в курсе, чем другие, так вот он сказал, что это у Муссолини каприз такой, он, мол, хотел Грецию, а Гитлер был против. Только дуче ничего и слушать не стал. Каприз, одно слово… Так-то вот. Выходит, оказались мы там из-за какого-то каприза. Вот и все. Я хотел было им объяснить, что есть ребята получше меня, чтобы играть в завоевателей. Фашисты, например. Им это только подавай. А среди нас, солдат Виктора-Эммануила, никаких завоевателей и в помине не было. Мы все там были такие — во время тревоги делались совсем маленькими, приклеивались к каждой стенке и считали, что ружье слишком тяжелая штука. Какие из итальянцев вояки, ты же сам знаешь… Когда итальянский гарнизон слышит команду: «Штыки к бою!», ему чудится: «Койки к отбою!», и все отправляются по казармам. Это давно известно. А нам и без того забот хватало, кроме как слушать лекции по храбрости. Что не помешало нам с куманьком проболтаться на корабле целых двадцать восемь дней, прежде чем мы добрались до Тираны.

Хозяйский телевизор доносит автоматные очереди, вой сирен и тормозов. Не отрывая взгляда от всей этой американщины, молодая женщина сразу же показывает пальцем на салатницу, полную пирожков, на тот случай, если у меня вдруг засосет под ложечкой. Чтобы как следует набить желудок, сегодня вечером не хватает, пожалуй, только одной вещи. Но она, словно догадавшись, чего мне хочется, достает из буфета бутылку вина, не сводя глаз с толстого черного сыщика, который в этот момент зачитывает только что пойманному подонку его права. Я даже подумал, а что, собственно, она может понять во всем этом, живя среди такого количества экзотики. И устроился рядом с ней на диване, с бутылкой под рукой. Мы молча выпили. Она — досматривая конец сериала в благоговейном молчании. Я — погруженный в созерцание ее профиля.

— А во Франции тоже есть черные и китайцы?

— Да.

— А всякие полицейские истории с погонями, стрельбой и с девицами?

— Хм… Знаете, Париж все-таки не Нью-Йорк.

— Ну, наверняка там должно больше всякого такого происходить, чем здесь… Здесь-то никогда ничего не происходит.

— Не верьте этому. Еще и дня не прошло, как я здесь, а уже вдоволь успел нахлебаться всяких странностей.

Она улыбается, не веря мне, и снова протягивает свой стакан, чтобы я его наполнил. Она пьет и опять углубляется в происходящее на телеэкране. Может, от смущения. Загар, покрывающий ее шею и плечи, кончается сразу же за границами трехгрошового халатика, примявшегося на бедрах. Под ним угадывается комбинация со сползающей бретелькой. Она медленно приподнимает свой фартук за уголки и обмахивает себе лицо. Полицейский инспектор говорит что-то такое, что заставляет ее рассмеяться, но что именно, я не расслышал. Она кладет свою левую ногу на подлокотник и, раскачивая растоптанной туфлей, щелкает ею по пятке. С самым непринужденным видом. Неужели это та самая смущенная

девушка, которая встретила меня сегодня утром? Если да, то она привыкла ко мне гораздо быстрее, чем можно было подумать. Что ж. У меня для нее припасена целая сотня вопросов, но у нее, похоже, их больше тысячи.

— Вы одна здесь живете?

Ее ответ уже готов. У меня впечатление, что я даже припозднился с вопросом.

— Да, моих родителей уже нет в живых. Я сохранила пансион, но делаю и многое другое, чтобы как-то прожить. Много шью. Но также готовлю и занимаюсь уборкой у стариков, здесь, в городе.

Она должна загибаться тут от тоски круглый год. Несмотря на все двадцать семь каналов своего телика. Когда кончается очередная серия, она щелкает переключателем. РАИ передает что-то вроде шоу с участием почти обнаженных «герлз».

Их вид меня даже смутил немного. Она приглушает звук, и я тут же этим пользуюсь.

— Это местное вино? То, что мы пьем?

— Фу… нет, конечно. С местным вином я делаю салат. А то, что вы пьете, это из Бароло. Мой отец его обожал, и у меня от него осталось еще немало бутылок. Эх, если бы Сант'Анджело видел, что тут делают с его виноградом, он бы сразу от нас отступился!

Она смеется, но в смехе ее чувствуется горчинка. Я взглянул на этикетку: Бароло-74.

— А что там за история приключилась с вашим Сант'Анджело?

Не переставая любоваться мириадом девиц в блестках, она наливает себе другой стакан и довольно высоко его поднимает.

— Благословен будь, святой наш заступник! Сант'Анджело посетил наши края больше века назад. Он явился пастухам и сказал, что здесь, из этой земли, родится кровь Христова. Нет, вы только гляньте на эту девицу! Сроду не видала таких ног! Ну и длина, ammazza!

У меня возникло желание напомнить ей, что у нее самой тоже имеются ноги, и весьма неплохие. Но она, похоже, об этом и не догадывается. В коротком клипе, внезапно промелькнувшем на моей сетчатке, я увидел ее сначала избавленной от всех ее тряпок, а затем вновь одел, причесал и накрасил, как настоящую парижаночку. Прямо бомба с изюминкой, которая заставит оборачиваться на себя весь правый берег.

— А вы знаете ту маленькую часовенку, что стоит посреди виноградника со стороны Сант'Анджело?

— Конечно.

— И откуда она там взялась?

— После того как явился святой, там посадили виноградник и выстроили часовню. Ведь это вообще в первый раз случилось, чтобы какой-то святой забрался в такую глушь и посетил наши края. Ему поставили статую, а священник каждое воскресенье приходил служить там мессу, всего-то человек для тридцати, не больше. Моя бабушка, упокой Господи ее душу, родилась неподалеку. Так она эту часовню помнила еще открытой. Но потом ее закрыли, потому что народу стало совсем мало. Давно это было, почти сто лет назад. Сама-то я в церковь тут хожу, в Соре. Вожу туда своих стариков.

— А в Рим никогда не ездите?

— Никогда. Пасхальную службу я по телевизору смотрю. Папу совсем близко показывают, когда он нам говорит Urbi et Orbi. Да он и сам сказал, что это вполне допустимо, что службу смотрят по телику. Знаете, а меня Бьянка зовут. Вы к нам надолго?

— Не знаю.

— Оставайтесь хотя бы до Гонфаллоне. Это у нас праздник такой двенадцатого августа. Вот увидите, вся округа здесь соберется. Сразу несколько деревень будут устраивать соревнования. Людей — тьма тьмущая!

Внезапно она бросает взгляд на большие настенные часы в гостиной, вскакивает и переключает канал.

— Чуть «Даллас» не пропустили.

Льется тягучая, навязчивая музыка. Про меня она уже и думать забыла.

*

Разбудил меня уличный шум. Я открыл шторы и выглянул на площадь, превратившуюся в бурлящий рынок. Вчерашнее вино ничуть не раскололо мне голову. Замечаю вдалеке барышню Квадрини, покупающую арбуз, уже сам по себе слишком тяжелый для нее, даже если не считать кошелки, доверху набитой овощами. Она проходит мимо безумного слепца, который бренчит на своем банджо, пристроившись между двумя людскими потоками. Ему бросают монетки, он благодарит нараспев. Несмотря на расстояние, я слышу его блеющий голос и вижу невообразимые гримасы. Какой-то огородник швыряет в него яблоко, чтобы заставить заткнуться. Слепой получает снаряд прямо в лоб. На секунду он застывает, потом нашаривает его на земле и с хрустом пожирает. И орет:

— Эй ты, придурок! В следующий раз арбузом давай!

Толпа вокруг покатывается со смеху.

В уверенности, что остался в доме один, я иду на кухню, чтобы разжиться щепоткой кофе, и вдруг отшатываюсь назад, увидев за столом какого-то типа, скрестившего руки на толстом портфеле. Лет тридцать, элегантен, лицо свежее, зубы здоровые. Новый постоялец? Сам не знаю почему, но, заметив его взгляд, брошенный в мою сторону, я сразу же решил, что он из тех, кто молится духам зла.

— Хотите комнату? — спрашиваю я.

— Нет, я пришел повидать вас, синьор Польсинелли.

Тут я чуть не занервничал. Я вовсе не стремлюсь прозябать в безвестности во что бы то ни стало, но меня не покидает мерзкое ощущение, что мой лоб помечен крестиком.

— Позвольте представиться: Аттилио Портелья. Я живу во Фрозиноне, а сюда приехал потолковать с вами об одном деле. Я мог бы попробовать говорить по-французски, но кто из нас лучше знает язык другого?

— А как вы догадались, что я остановился именно здесь?

— Знаете, эти маленькие городки…

Я пожимаю плечами. Нет, ведь в самом деле — всякому, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к винограднику, не составляет ни малейшего труда меня разыскать.

Ясно и сжато он изложил мне пару фактов, которые способствовали лучшему пониманию цели его визита. Итак, он из хорошей семьи, изучал виноделие в Париже и теперь вот хочет углубиться в свое ремесло.

— Я собираюсь создать свое собственное вино, и у меня есть на это деньги. Один француз, владелец винных складов, согласен попытать со мной счастья.

— Француз? Какой француз?

— Шато-Лаффит, с вашего позволения, — отвечает он, пытаясь выговаривать на французский лад.

— И что дальше?

— Я хочу обосноваться здесь. Месяц назад я тут прогуливался и наткнулся на ваш виноградник. Это как раз то, что нужно для моего будущего вина, — подходящая площадь, около десяти тысяч бутылок в год. Можно было бы выжать и больше, но я не хочу. Вино я попробовал и не могу сказать, что сейчас оно…

— Я знаю.

Это уже по крайней мере десятый, кто говорит, что мое вино гадость. А я пока единственный, кто его еще не пробовал.

— Не могу поклясться, что создам какую-нибудь знаменитую марку, это отнюдь не Шато-Лаффит, согласен. Но это будет вполне приятное скромное винцо со своим, так сказать, букетом…

— Я в этом не разбираюсь. Разве такое возможно?

— Придется начинать с нуля, лишить себя трех ближайших урожаев, устроить новые погреба, закупить дубовые бочки, а также… Но… хм. Не вижу, зачем мне рассказывать вам все эти подробности.

Он встал и открыл портфель.

— Я хочу этот виноградник.

Пачки банкнот по пятьдесят тысяч лир.

— Я его покупаю у вас по двойной цене за квадратный метр, то есть за пятьдесят миллионов лир в присутствии нотариуса. Плюс то, что вы видите на столе. Десять миллионов лир, если вы решитесь сегодня же.

— Уберите все это немедля. Сейчас сюда вернется молодая особа, которая содержит этот дом, и я вовсе не хочу ее пугать.

Удивленный, он снова упаковал свои пачки и протянул мне портфель.

— Никто не даст вам за него больше.

— А если я сам захочу делать хорошее вино?

— Вы шутите, господин Польсинелли.

— Да, я шучу.

Тут явилась синьорина Квадрини и поприветствовала незнакомца. По скованности ее движений я догадался, что она смущена. Сначала она предложила нам по куску арбуза, потом кофе.

В дальнем углу, рядом с диваном, я заметил вчерашнюю бутылку.

— А у вас еще осталось такое же вино, как вчера?

Вместо ответа она удалилась за новой бутылкой.

— Мы сейчас с господином Портельей выпьем по стаканчику с вашего разрешения, мадемуазель Квадрини?

Она кивает головой и достает два стакана. Гость машет рукой:

— Благодарю, мне не надо, еще слишком рано.

Я заглядываю ему прямо в глаза, не переставая орудовать пробочником.

— Выпейте за мое здоровье! — говорю я тоном приказа.

Он сразу понял, что ему не отвертеться. Я же, наливая, прикрыл этикетку ладонью, а потом поставил бутылку на пол у своих ног. Бьянка смотрела на нас с любопытством.

Портелья сердито изучил цвет жидкости, потом, слегка взболтав, понюхал. Когда он поднес стакан ко рту, его глаза встретились с моими. Первый глоток он перекатывал во рту, словно разжевывая, несколько секунд. Потом сделал второй. Я осушил свой стакан одним духом.

— Ну, что вы о нем думаете? — спросил я.

Портелья не спускает глаз со своего стакана.

Тянет с ответом.

— Это не так просто… Все зависит от способа хранения.

— Ну давайте. Напрягитесь. Это ведь детская игра для такого специалиста, как вы.

— Вино, безусловно, с севера…

— Ну, еще что-нибудь, господин Портелья. Уточните.

Я забавляюсь, глядя, как он снова принялся нюхать свой стакан, чтобы выиграть время.

— Я бы сказал… хм… Оно не слишком выразительно… Скорее, терпковатое, еще чувствуется вкус ягод… Вот-вот начнет стареть…

В возбуждении я наливаю себе еще стакан. По-прежнему не поднимая бутылку из-под стола.

— Пока ничего страшного, но не думаю, чтобы стоило выдерживать его больше десяти лет.

После следующего глотка он добавил:

— Мне кажется, оно из Пьемонта.

— Хватит уверток, господин винодел. Скажите что-нибудь посущественней.

— Я скажу, что это бароло. Средней выдержки, но заметно старше десяти лет.

Я чуть не поперхнулся.

— Годик этак… семьдесят четвертый?

Бьянка коротко и пронзительно присвистнула.

Я хлопнул своим стаканом о стол. Портелья вышел, оставив свой портфель, и добавил, что заглянет ближе к вечеру.

*

Бьянка показала мне дорогу к почте.

Что-то экваториальное есть в этом месте — вентилятор под потолком, кабинки из светлого дерева, стойка из розового мрамора. За стойкой какой-то тип, повязав шею полотенцем, уминает макароны с соусом прямо из котелка. Выпятив свою жирную губу, он дает понять, что я ему мешаю. На том конце провода мать спрашивает, жарко ли здесь и нашел ли я, где поесть и поспать. Отец, кажется, пообещал меня выдрать, когда вернется, за то, что по моей милости mamma осталась одна. Конец света, да и только.

Во второй половине дня я направляюсь в виноградник, где меня поджидает синьор Манджини вместе с виноградарем, который ради такого случая напялил свой воскресный костюм. Этот парень, Джакомо, не знает, куда себя деть от смущения. Я не только первый иностранец в его жизни, если не считать Дарио, но я еще и il padrone — хозяин. Для начала он попытался вывалить на меня всю эту техническую бодягу насчет виноделия вообще и его метода в частности, насчет саженцев, подрезки черенков и кучу всего прочего, в чем я ничегошеньки не смыслю, но делаю вид, будто очень интересуюсь. Мой виноградник для него побочное занятие, у парня есть собственная ферма, но дела там не слишком хороши, потому он и пытается заработать несколько лишних грошей на гроздьях, с которыми никто больше не захотел возиться. Он сумел-таки продать несколько тысяч литров одному миланскому предприятию, имеющему сеть дешевых ресторанчиков, но в дальнейшем его интересует постоянное жалованье, которое ему предложил Дарио. Кстати, тот факт, что Дарио доверил этому честняге и в дальнейшем гнать кислятину, лишний раз доказывает, что ему было совершенно плевать на качество. Они отвели меня в погреб, где я увидел ряд бочек, содержащих тридцать тысяч непроданных литров, которые накопились тут за четыре последних года. Наконец-то мне удалось в первый раз омочить свои губы в этом питье. Поскольку мне все уши прожужжали про его дурной вкус, я глотнул эту жидкость, уже заранее морщась.

— Ну и?..

Ну и я притворился. С глубокомысленным видом ополоснул себе нёбо, ожидая, что сейчас что-нибудь произойдет. В общем, впечатления, будто я вкушаю кровь Христову, у меня не возникло. Сравнение с вчерашним бароло оказалось далеко не в пользу второго. Но все-таки я ожидал гораздо худшего. Может, оно чересчур терпкое. Это правда. Кисловато. Напоминает дешевое красное по шестнадцать франков за четверть. И требует основательной закуски с кофе, иначе рискуешь повредить себе голову на остаток дня. Я его не выплюнул. Бедный малый, который его сварганил, не вынес бы этого. Я отвел глаза.

— Ну и?..

Ну и снова я протягиваю свою чарку, чтобы продолжить дегустацию. На этот раз я проглотил его одним духом, словно меня замучила жажда. Но те двое за мной не последовали. Мне хотелось сказать им что-нибудь… этакое… оригинальное. Дескать, тут оно чересчур такое, а там недостаточно сякое… Но, в сущности, сказать мне нечего. Эта жидкость — вино. И все тут. Правда, не слишком притязательное, чтобы обойтись без хорошо наполненной тарелки. Однако я слышал как-то от одного повара, что итальянская кухня — вторая в мире, потому что это вторая кухня в мире, которая рассматривает вино как пищевой продукт.

Что же такое было все-таки у Дарио на уме, если оно заставило его притащить свои лаковые туфельки в эту дыру?

— Ну и что же нам скажет синьор, наконец?

*****

Три дня я слонялся по своему участку, по городку, по разным людям, вынюхивая хоть что-нибудь, что пробудило бы мою интуицию. Нотариус, прочитав какой-то крошечный пунктик в документах на владение, пожелал мне запастись мужеством. Помощник мэра тоже — короче, весь светский кружок Соры, хотя я так ничего и не выведал. Затем последовали два новых визита Портельи, во время которых я забавлялся тем, что удваивал сумму. С тем, что он уже успел мне предложить, я вполне мог бы вернуться в Париж и устроить себе двухгодичные каникулы. Но Дарио-то собирался вообще выйти в отставку с помощью этих земель — в свои тридцать лет. А пока в ожидании сбора винограда Джакомо трудится не покладая рук. Вместе с двумя работниками они обрезают те листья, которые затеняют гроздья, и сохраняют другие, защищающие их от дождя. Но дождя, похоже, этим летом уже не будет. Урожай обещает быть хорошим. Я всю свою землю перемерил шагами, блуждая по ней часами напролет, не пропуская ни одного уголка. Кое-где я даже пробовал копать наугад, надеясь обнаружить сокровище. Глупая надежда. Чем дольше я тут торчу, тем сильнее крепнет во мне убеждение, что искать тут нечего. Тут есть только работа и ничего, кроме работы. А от работы Дарио всегда бежал как черт от ладана. Вчера, чувствуя, что мои силы на исходе, я пошел жаловаться подлинному хозяину этой земли — самому Сант'Анджело. А что, если сокровище вовсе нигде не зарыто, а торчит самым дурацким образом у всех на виду вот уже больше века, как статуя или часовня? Напрасные мечты. Часовня грозит вот-вот обрушиться, а подножие статуи пустое внутри. Что касается самого Сант'Анджело, то любой мальчишка мог уже давно сбыть его на рынке, и никто бы даже внимания не обратил. И все же я обнаружил в часовне кое-какие странности. Некоторые трещины показались мне сделанными нарочно, тогда как другие выглядят так, словно их пытались залатать с помощью накладок и подпорок, прибитых к деревянному каркасу. Здешние селяне принимают меня за психа. Мне же все больше и больше не хватает моего отца. Порой у меня возникает ощущение, будто я сам оказался на фронте в чужой стране. И при этом я еще ни разу не видел противника.

…Нас высадили в порту Дуррес, и уже оттуда мы добирались до Тираны, столицы. Там я опять увидел фашистов. Но к этим-то мы уже привыкли. А вот струхнул я, когда нам начали попадаться немцы, настоящие немцы. Нам объявили, что эти ребята наши союзники. Союзники? Вот эти? Нам тогда и другие глупости говорили вроде той. Кто-то из наших заявил, что Албания, дескать, находится в зависимости от Италии с тридцать девятого года. Ну и дальше что? Нам-то какого черта было с этим делать? Оказывается, нам предназначалось служить на так называемой авиабазе. И вот мы торчали там несколько месяцев, ни хрена не делая, и только пялились в небо через бинокль, а по ночам пытались что-нибудь уловить на слух, играя в карты. Если какой-то шум казался нам подозрительным, звонили зенитчикам. Но я что-то ни разу не слыхал, чтобы они по кому-то стреляли. Противник? Нет никакого противника мы и в глаза не видели. Никакого. Мы с компаре уже начали было подумывать, что в нас не очень-то нуждаются. Но тут нам сказали, что нашлось-таки кое-что такое, что надо защищать. И что это оказалось? Нефтяная скважина. М-да…

Десять солдат больше полутора лет вокруг одной скважины, на которую никто и не собирался нападать. А война от этой скважины была дальше чем в пятистах километрах. В пятистах…

А однажды мне дали пятнадцать суток отпуска. Компаре сказал: откажись, ты будешь рисковать гораздо больше, мотаясь туда и обратно, чем мы, оставаясь здесь. И он был прав. Пятнадцать дней в Соре, а потом целых четыре месяца возвращаться Когда я добрался до Албании, там уже все решили, что я дезертировал. Еще бы… Останься я дома, никто бы ничего и не заметил. А я как дурак, вдруг снова объявляюсь среди этих засонь. Хотя вполне мог бы остаться дома и стать дезертиром по-настоящему. Компаре меня встретил со слезами на глазах. Я его спрашиваю: вы хоть противника видели за эти четыре месяца? А он говорит: нет. Ну, я тогда пошел вздремнуть.

Бьянка поджидала меня к ужину. Не подавая виду, разумеется.

— Будете penne all'arrabiata?

— Да! — отвечаю я, поскольку проголодался.

Penne — это «перышки», такие короткие, кососрезанные макароны. All'arrabiata значит с «бешеным» соусом, потому что готовится очень быстро и обжигает вас из-за стручкового перца.

— Когда моя мать готовит соус, у нее на это уходит добрых три часа, — замечаю я.

— Это нормально. На настоящий томатный соус надо потратить или меньше десяти минут, или больше двух часов. Потому что в промежутке помидоры отдают всю свою кислоту. Если хотите, Антонио, завтра сделаю каннелони…

Произнося это, она немного краснеет, а я… я даже не знаю, куда себя деть. Замечаю на столе громадную миску с оставленными набухать люпинами — волчьими бобами.

— Вы не включите мне телевизор? — просит она. — Пожалуйста, Антонио.

Она не может без него обойтись. Боюсь, что ее знания об остальном мире сводятся к тому, что можно почерпнуть из этого ящика с картинками.

— В это время нет ничего хорошего, но зато помогает готовить.

— Простите?

— Ну да… Вот, если хотите, я вас научу делать соус arrabiata. Сейчас 19.45. Включите РАИ.

Слышен перезвон, с которого начинается блок рекламы.

— Ставьте воду кипятиться и в то же время бросьте на горячую сковороду целую дольку чеснока. И оставьте на огне до конца рекламы.

Всепроникающий чесночный дух добирается и до меня. Реклама кончается. Она просит перещелкнуть на пятую, где какой-то малый перед картой Италии сулит завтра днем +35.

— Как только начинается метеосводка, чеснок можно убирать, масло уже впитало весь его вкус. Бросайте теперь на сковородку очищенные помидоры. Как только он закончит сводку, вода закипит, и вы запустите туда свои «перышки». Переключите на четвертую.

Ведущий какой-то телеигры, публика, девицы, гигантские фишки с загорающимися цифрами, перевозбужденные участники.

— Когда дадут результаты розыгрыша, можно слегка помешать соус и добавить маленькую баночку томатной пасты для цвета и пару стручков перца, не больше. Оставьте на большом огне, пусть кипит, но крышкой не закрывайте. Будет брызгать, конечно, но говорят, что соус arrabiata удался, только когда вся кухня забрызгана красным. Давайте на вторую.

Бразильский видеосериал: двое чопорных любовников собачатся между собой в гостиной.

— Как закончится, будет выпуск новостей, и все, можно подавать на стол. Соус и макароны окажутся готовы точно в одно и то же время. Пятнадцать минут. Вы все запомнили?

Сам того не замечая, я грыз тем временем люпины, и теперь передо мной возвышается целая горка кожуры. Нервным движением отправляю в рот еще несколько штук. Нет ничего хуже заглушать голод этой дрянью. Настоящая зараза.

— Остерегайтесь проклятья волчьих бобов, Антонио. Говорят, что, когда Христос спасался от фарисеев, он спрятался на люпиновом поле. Но ведь стоит только потрясти ветку люпина, и гром стоит, как от колоколов. Вот фарисеи сразу его и нашли. И он тогда сказал: пусть всякий, кто съест один-единственный из этих бобов, вовек не сможет насытиться. Так что ешьте лучше оливки.

Нахожу ее все больше и больше очаровательной, с ее кухней, рецептами и всеми этими сказками и легендами.

— Но ведь с оливками было то же самое…

— А вот и нет. Христос как-то раз спрятался в оливковой роще. А поскольку ствол у оливы внутри пустой, то никто его там не нашел. И он за это благословил оливу.

Коли правда — обручусь, а неправда — то женюсь. Еще не хватало. Можно подумать, что Христос был такой трусишка.

— Ваш рецепт неплох, но у меня нет телевизора.

— Тогда сидите на бобах.

Тут моя тарелка наполняется горячими макаронами. Объедение. И обжигание. Всегда опасался девушек, которые умеют так готовить.

— Скажите, Бьянка, а сколько вам лет?

— Я с шестьдесят первого.

— Не верю. А месяц какой?

— Сентябрь.

— Да ну? А число?

— Первое. И я очень этим горжусь. Если хотите еще точнее, то в три часа дня.

Невероятно. Я старше ее всего на каких-то четыре часа. Это совпадение смущает меня до такой степени, что я уже другими глазами смотрю на свою хозяйку. Первое сентября, говорите?

Наши истории, хоть и такие разные, уже столько раз переплетались. Она здесь, я там, все наши детские свидания, вехи, надежды, вплоть до наступления совершеннолетия. Словно мы прокрутили наши жизни задом наперед, чтобы найти друг друга сегодня вечером. Если бы

я родился здесь, в двух улицах от ее дома, мы бы встречались с ней тысячи раз, но наверняка ни разу не поговорили бы по-настоящему.

Между нами воцаряется нежное молчание, которое мы поддерживаем робкими взглядами. Я даю себе клятву, что, прежде чем вернусь во Францию, она окажется в моих объятиях. Но сегодня вечером мне не хватает духу. Вскоре я оставляю ее наедине с пустыми тарелками. С глазами, наполненными одиночеством.

*

Некто рыщет по округе. Ночами. Некто — это я. Мне нравится моя роль хозяина. Но сегодня вечером я твердо решил кое с кем потолковать по душам. С этим Анджело. С этим ангелом, у которого такой суровый взгляд. Может, он скажет мне, наконец, где тут что зарыто?

Дневное небо черно, ночное тоже.

Как это грустно, все видеть в черном…

На этот раз слепому не удалось застать меня врасплох. Я-то знал наверняка, что он сюда притащится. Вот песня его и выдала. Говорят, у слепых тонкий слух. Может, это и так, но наверняка на трезвую голову. Когда же они пьяны в стельку, то не слишком отличаются от остальных — такие же тупые, крикливые, не желающие ничего замечать. Я подкрадываюсь к бочке, где он устроил себе пристанище на ночь. Фальстаф с остановившимся взглядом.

Вот он лежит. Раздутое брюхо выпирает, как бурдюк. Ощутив мое присутствие, он застыл на мгновение. Мне даже удалось поймать его взгляд без очков. Он обвел своими незащищенными глазами окружающее пространство, и я подумал, что сейчас он будет долго шарить по земле в поисках очков, но они очутились у него на носу в мгновение ока. Я приблизился к нему почти вплотную, в полной тишине. Он не замедлил приложиться к своему кувшину с вином. Без сомнения, у него в голове сейчас такой туман, что он не приметил бы и целый полк с оркестром.

Я подошел к нему как можно ближе, чтобы действовать наверняка и предстать перед ним внезапно и неумолимо, — как безжалостный воин над поверженным врагом.

Он опустил свою бутыль и опять загорланил:

Однажды пришел человек,

Он тоже был черен

И он мне сказал…

И вдруг он резко швырнул свою бутылку, чуть не угодив мне в физиономию. Если бы я вовремя не увернулся, иметь мне сейчас одним глазом меньше. В каком-то смысле это пошло бы мне на пользу, раз навсегда отучив подглядывать.

— Кто он был такой, этот человек? — крикнул я так неожиданно, что он вздрогнул.

Словно перебитый пополам дождевой червяк, он начал крутиться вокруг себя, пока не наткнулся на дерево. Несколько секунд испуга, пьяных причитаний, и я разобрал наконец, что он просит не бить его.

— Я знаю, что это вы! Француз! Вы говорите как француз!

— Так кто он был такой, этот человек, который обещал тебе золото?

— Я никогда больше не буду пить ваше вино, клянусь, только не бейте меня!

Я подобрал миску, валявшуюся в углу, наполнил вином до краев и осторожно приблизился к нему.

— Можете выпить хоть все вино, какое только здесь есть, мне на это плевать. Вам это сам хозяин говорит, так что валяйте, пейте.

Привыкший получать взбучку всякий раз, как ступит сюда ногой, он не верил мне.

— Пейте! — приказываю я ему.

Больше он не заставляет себя упрашивать, но не думаю, чтобы он воспринял это как поощрение, и он прав. На уме у меня совсем другое — чем сильнее он опьянеет, тем скорее я сумею вытянуть из него, что тут нечисто в моем королевстве.

— Кто он был такой — этот богатый человек?

— Что вы тут все ищете, на этой земле? Чего вам надо, французам, вы тут не у себя дома…

Он снова приложился к вину, уже без принуждения. При слове «французы» я понял, что напал на верный след. Его песня заинтриговала меня еще с первого раза. В сущности, это был некий итог его жизни. Плач, причитание о чем-то, что свербит в его душе подобно угрызению совести. И снова я задаю ему вопрос о том человеке и его золотых посулах.

— Значит, он был французом, как и я?

Он кивнул головой, и мое сердце подпрыгнуло в груди.

— Знаете, ведь он был моим другом… Он обещал вам денег?

— Слишком много денег… И еще одну вещь… даже лучше денег. Не заставляйте меня думать обо всем этом, пожалуйста, дайте вина… он был единственной удачей в моей жизни…

— Чего он от вас хотел? Говорите!

— Хочу вина…

Он расплакался, и я вдруг почувствовал, что он близок к признанию. Но у меня возникло также подленькое ощущение, что больше он не скажет ни слова в эту ночь, несмотря на все свое опьянение, несмотря на все свои слезы. Но об этом и речи быть не может. И я с ненавистью сжал кулаки. Мне вспомнился его панический страх перед побоями. Стиснув зубы, я ударил его по лицу тыльной стороной ладони. Движимый приступом ярости, подкатившим к горлу, я снова замахнулся, чтобы влепить ему следующую затрещину, но благодаря какому-то непостижимому рефлексу слепой сумел увернуться, и моя рука наткнулась на дерево.

4

При первых проблесках зари слепой заснул.

Всю свою жизнь я буду помнить эту ночь.

Я видел человека, дошедшего до крайней степени опьянения, охваченного огнем, горящего желанием высказаться наконец и рассказать все о себе, о мире, заливавшего это пламя полными стаканами вина. Я слышал голос существа, освобождающегося наконец от последних пут сковывавшей его тайны. Такого рода откровения нельзя выслушивать просто так — спокойно. Тут уж никто бы не смог устоять, даже священник. А в данном случае — особенно священник. Я тоже не выдержал и принялся пить вместе с ним, чтобы хоть как-то продержаться до конца.

Потом он вдруг рухнул замертво. Прямо мне на руки. Никогда не подозревал, что человек может таить в себе столько всего, чем можно облегчить душу. Я встал, желая поскорее добраться до своего пансиона и все забыть. От такого количества слов и плохого вина в голове шумело. Мне казалось, что я увязаю во влажной земле, что я тону и что никто никогда меня здесь не найдет. Я сжимал кулаки, чтобы меня не вырвало, какие-то бесформенные образы теснились у меня в мозгу. Почему-то вспомнился отец, и тут уже все перемешалось — его жизнь, моя, словно я вынужденно цеплялся за эти воспоминания, чтобы не уснуть.

…А в ноябре сорок третьего года все вдруг полетело к чертям. Нас собрали всех, сколько там было у подножия холма, чтобы объявить что-то важное. Представляешь? Семьдесят тысяч человек, напуганных тем, что их сбили в одну кучу. Фашисты и немцы тоже там были. И вот один офицер взял слово и обратился к нам с вершины холма. Он сказал: перемирие с греками подписано! В общем-то, мы это восприняли как добрую новость, но только сначала, пока он не объявил: а теперь спасайся кто может! Да и то мы не сразу поняли, что он этим хотел сказать. И лишь когда из-за холма выскочили автоматчики, мы начали задавать себе вопросы. Но ответить на них не успели, потому что те начали поливать нас сверху огнем. Два года мы проторчали в этой стране, но ни одного противника, ни одного боя в глаза не видели. А тут надо было такому случиться, чтобы по тебе палил как по кролику, свой же брат-итальянец! Но при всем при том самое плохое было… знаешь что? Ни за что не поверишь. Грустно такое говорить, но мы вдруг почувствовали себя так, будто осиротели. Другого слова не подберешь. Само-то итальянское государство из этого выпуталось, а вот нас бросило на произвол судьбы. Словно отец ушел из семьи и оставил своих малышей. Это уж точно… Мы были свободны и вроде как демобилизованы, но тут-то и началось самое худшее. Сперва мы попытались добраться до портов, хотя и знали отлично, что никакие корабли нас там не ждут и везти домой не собираются. Фашисты и немцы, те продолжали войну, какую именно — я, правда, так и не понял, но все остальные, мы то есть, имели право вернуться. Но не могли. Тогда-то нам в первый раз и повстречались албанские партизаны. Мы пытались говорить на их языке. Мы им даже симпатизировали. Я отдал им свое ружье. Уж они-то знали, что с ним делать. По крайней мере они сами так говорили. Кстати, хорошо сделал, что отдал, а то, если бы пожадничал, может и не сидел бы сейчас здесь, не рассказывал все это. Мундиров у нас тогда уже не было. А тут и зима настала.

Покачиваясь, я кое-как добрался до тропы и поплелся по ней, словно слепой, но без ловкости и сноровки. Меня мотало от дерева к дереву, и я ковылял так довольно долго, пребывая в уверенности, что проделал уже весьма большой путь, тогда как в действительности проделал всего несколько десятков метров. В какой-то миг мне показалось, что я никогда не выберусь отсюда и что вопреки всем своим усилиям упаду в канаву и останусь там лежать, пока кто-нибудь меня оттуда не вытащит.

И упал — долго ждать не пришлось.

Несмотря на полузакрытые веки и туман в глазах, я все-таки сумел заметить эту малолитражку, почти бесшумно вывернувшую из лесу и невероятно медленно заскользившую в мою сторону. Она сбила меня с ног, и я упал на капот, безуспешно пытаясь за что-нибудь уцепиться. Без малейшего рывка машина остановилась, но мне не хватало сил, чтобы распрямиться и встать на ноги. Несмотря на то что в голове у меня все перемешалось, я сообразил, однако, что целью этой игры отнюдь не было проехаться по мне колесами.

Появился чей-то силуэт. Меня вырвало прямо на ветровое стекло.

— Было бы так легко вас сейчас прикончить, а потом спокойно продолжить свой путь, — сказал чей-то голос, отдаленно знакомый.

Пришлось даже зажмуриться изо всех сил, чтобы попытаться определить, кому он принадлежит. И тут я со смущением осознал, что достиг самой критической фазы опьянения, той туманной и зыбкой грани между эйфорией и болезнью, когда ты готов отдать все на свете ради того, чтобы прямо здесь и сейчас рухнуть наземь и чтобы тебя навеки оставили в покое. И ведь надо же — этот мерзавец подловил меня как раз в такой момент.

— Но мне нужны не вы, а ваша земля.

И в то же время какая-то загадочная химическая реакция между алкогольными парами и мозговыми извилинами дает в результате внезапное протрезвление. Трезвеешь даже как-то

чересчур. И тебе становится решительно наплевать на все, что с тобой может произойти. При слове «земля» я расхохотался. Как только мне удалось избавиться от переполнявшего меня вина, я выблевал целые потоки слов, в этот раз на своем родном языке, и это было чертовски здорово — вновь вернуть себе способность изъясняться по-французски. Хныкать по-французски, оскорблять по-французски, ухмыляться по-французски.

— Сделайте еще одно усилие, синьор Польсинелли. Мое предложение было серьезным и великодушным. Продолжая отказываться, вы все равно не отделаетесь от меня.

Портелья. Я его узнал наконец. Я ведь говорил себе, что рано или поздно он сбросит маску.

— Плевал я на тебя…

— Будь я на вашем месте, синьор…

— Пошел ты знаешь куда! Я пьян, и мне на тебя…

Он куда-то исчез на мгновение и вновь появился, держа в руке тонкую блестящую штуковину.

— По доброй воле или через силу вы все равно избавитесь от этого виноградника. Однако время поджимает, и он мне нужен как можно скорее. Но еще скорее можете сдохнуть вы сами, если будете тянуть с продажей. Я ведь и до Франции доберусь, чтобы вас прирезать.

Приблизив блестящую штуку к моему лицу, он чиркает ею по щеке. Становится горячо. Немного щиплет. Когда он убрал ее от моей щеки, я смог рассмотреть, что это такое. Просто бритва. Как у того римского брадобрея. Я тогда вообще в первый раз увидел ее вблизи. Когда струйка крови достигла шеи, я вновь представил себе, как ползу в ванную после выстрелов, а также запах спирта и вопли гуляк с балкона напротив.

— Вы по-прежнему отказываетесь это обсуждать?

Прежде чем ответить, я обождал мгновенье.

— Сейчас… еще меньше… после этой ночи…

Потому что после этой ночи я наконец-то начал понимать, что же такое было сокрыто в этой земле. Я понял, что мало было возделывать ее, копать и перекапывать, чтобы извлечь из нее что бы то ни было. Прежде всего ею надо было владеть. Быть ее собственником. Вот почему этот подонок меня сейчас не убьет. Но зато и он знает наверняка, что в полицию я на него не пожалуюсь.

— Поймите меня правильно, синьор Польсинелли. Вам будет недостаточно того, что ваше имя написано на каком-то клочке бумаги, чтобы действительно стать владельцем этой земли. Местные ребята вам этого не простят, вспомните, что стало с вашим дружком Дарио. Вы кончите так же, как он, и по тем же самым причинам…

— Va fan' cullo.[13]

Его лезвие у моей шеи.

Я жду, когда он резанет.

Мгновение…

И тут я услышал треск.

Портелья упал на меня. Моя голова снова ткнулась в ветровое стекло, и наши с ним тела, перекувырнувшись, шлепнулись на дорогу. Я стиснул зубы, чтобы не потерять сознание. Мы лежали голова к голове. Из моей головы на его что-то стекало. Мне никак не удавалось отлепить свою щеку от его лба. И я потерял сознание.

*

Грязный свод с разбегающимися во все стороны трещинами. Квадратики травы, проросшей сквозь плиты пола. И святой с распростертыми руками, взирающий на меня с высоты…

Рай…

Еще полностью не придя в себя, я дотаскиваюсь до статуи, чтобы прикоснуться к ней и удостовериться, что мы все еще составляем часть материального мира. Я вскрикнул, лаская ее каменное подножие.

Мне хорошо тут, в часовне. Сам Сант'Анджело, должно быть, хранил меня. Не дал умереть. Машинально я поднес руки к лицу, потом к шее. Ничего. Ни малейшей царапины.

— Какого черта я тут делаю, benedetto Сант'Анджело? А? Мне что, надо говорить по-итальянски, чтобы ты удостоил ответом? Ну уж нет, хватит с меня этого языка…

Я выбрался наружу. Слепого и след простыл. Чуть подальше, на тропе, я некоторое время искал машину Портельи, опасаясь наткнуться где-нибудь неподалеку на его бездыханное тело. Но обнаружил лишь несколько пятнышек крови там, где мы упали. Чья это — моя или его? Кто знает.

*

Проходя мимо кухни, я отвернулся, чтобы не напугать Бьянку своим видом. Напрасная предосторожность, она еще не вернулась с рынка; я увидел из окна, как она торгуется за арбуз к обеду. На столе меня поджидала записка: «Еда в холодильнике, постель застелена». В несколько секунд я собрал свою дорожную сумку и, в свою очередь, тоже нацарапал записку: «Уехал на несколько дней. Вернусь к Гонфаллоне». И вышел.

Четыре часа спустя я сидел в автобусе, направляющемся в столицу. Как и по дороге сюда, я опять устроился рядом с водителем. Моя спешная командировка в Рим должна помочь, кроме всего прочего, забыть недавний ночной кошмар. И еще я хочу выспаться денек-другой перед большим прыжком. Но самое главное — проверить на бумаге, так ли гениален был Дарио, как он сам это утверждал. В Сору мне необходимо вернуться к празднику. К Гонфаллоне. Так или иначе, все сводится именно к этой дате — двенадцатое августа. И лишь пережив этот день, я узнаю, стоило ли все это таких усилий. Только тогда я смогу вернуться домой с легким сердцем, довольный уже тем, что попытался воплотить в жизнь мечту друга детства.

Проезжая по Риму, я бросил взгляд на Колизей, потом на монумент в честь Виктора-Эммануила. Сами римляне называют первое «камамбером», а второе — «пишущей машинкой». Даже если и то и другое заслуживает таких прозвищ, я все-таки не уверен, что так уж много римлян близко знакомы с камамбером. Поиск комнаты я начал, повинуясь какому-то рефлексу, неподалеку от вокзала. Оказалось достаточным заглянуть в первый попавшийся ресторанчик, где официант тут же сообщил мне адрес лучшего пансиона с лучшим постельным бельем и лучшей горячей водой во всем квартале и, как будто я сам еще этого не понял, порекомендовал явиться туда от его имени. И попутно добавил, что готовит лучшие «тальятелли» на этой улице.

Несколько часов спустя я проснулся в такой огромной постели, что чета новобрачных вполне могла бы там поместиться вместе со всеми своими свидетелями. Мне это удовольствие обошлось на десять тысяч лир дороже, но я не жалею. Хозяин — здоровенный бородач лет пятидесяти — весьма любезен и не прочь поболтать с клиентами, как только речь заходит о его любимом городе.

— Сколько времени пробудете у нас?

— Мне надо вернуться одиннадцатого утром.

Он достает из кипящей воды длинную макаронину, изучает ее, не пробуя, потом бросает обратно в воду и гасит огонь.

— Только три дня? А вы знаете, сколько их понадобилось, чтобы построить Рим?

— Да уж, конечно, не один день, это все знают. Хотя, как же так получилось, что хватило одной ночи, чтобы его спалить?

— Скажете тоже… Все это враки! — добавил он, размахивая шумовкой.

— А вы их не пробуете, прежде чем подавать на стол?

— Я-то? Никогда. У каждого, правда, свой метод. Я на них смотрю, этого достаточно. Но могу, однако, доказать вам, что они уже в самый раз, даже еще лучше, чем если бы вы их пробовали.

Он выхватывает одну макаронину и швыряет ее о стену.

— Вот, смотрите. Если бы она была еще сырая, то не прилипла бы, а если переваренная — то сползла. Здесь макароны варятся лучше всего, потому что мы как раз на уровне моря.

— Как это?

— А вы знаете, что никогда макароны не получаются одинаково в горах и на море? На высоте вода не достигает ста градусов, и кипяток получается слишком слабый. Так что тонкие макароны там как следует не сваришь, потому что их надо забрасывать в самый крутой кипяток и держать там всего несколько секунд, иначе получится размазня. Это, кстати, и объясняет многие местные особенности в кухне. Ах… как вы удачно сюда попали! Я знаю все, все, все! И вы ни в коем случае не должны упустить возможность увидеть плафон святой Цецилии, это всего в двух шагах от Пантеона. Если будете неподалеку, обязательно воспользуйтесь этим, чтобы…

— Боюсь у меня не будет времени.

— Тогда ради чего вы сюда приехали? Ресторанчики? Римляночки?

— Библиотеки.

— Prego?..

— Мне нужно отыскать кое-какие сведения в библиотеках. Про них вы тоже все знаете?

Он колеблется мгновение, потом выглядывает в коридор и вопит:

— Альфредо!.. Альфредо!.. Ma dove sei, ammazza!.. Альфредо!..

В коридор выскакивает парнишка лет пятнадцати.

— Это по твоей части, — говорит ему отец. — Интеллектуал!

*

Само «Объединение по обслуживанию туристов» не сумело бы устроить лучше. Малыш Альфредо сразу же сообразил, что мне надо, и порекомендовал два места, где я найду все, что требуется, а также адрес одного французского книжного магазина — на тот случай, если мне не хватит познаний в итальянском языке.

Два последующих дня я только и делал, что копался в книгах, листал, переснимал все заинтересовавшие меня документы и час за часом наблюдал, как вырастает проект, хотя меня и не покидало ощущение, что все уже давно стоит на своих местах. В сущности, достаточно было идти по тем следам, которые соблаговолил оставить мне Дарио. Вечером я запирался вместе со своим досье и землемерным планом, чтобы еще и еще раз проверить, имеет ли этот бред шансы на удачу. За ночь я изводил тонны бумаги, пытаясь вычертить, наконец, что-нибудь вразумительное. Но когда я вглядываюсь попристальней в эту невероятную комбинацию, в эту причудливую машинерию, я снова спрашиваю себя: а получу

ли я когда-нибудь право на вечный покой? Быть может, как раз за это и был наказан Дарио? И приговор подписали в самых что ни на есть заоблачных сферах? И как только подобный план мог пустить корни именно в его голове? Вынужден признать, что у природных лентяев есть особый дар — уметь заставить других ишачить на себя. Причем среди этих «других» не одни только человеческие существа.

Мне тебя не хватает, как никогда раньше, Дарио… Я боюсь, и это по твоей вине. Быть может, я стремлюсь навстречу провалу в тайной надежде, что твой план сумеет тебя оживить. Но нет, это немыслимо, такое не может сработать. Это же идиотизм, как ты не понимаешь? Для твоих ничтожных проделок, трехгрошовых подвохов ты был куда как хорош, но это… это слишком жирно для тебя. Для нас обоих. Спасибо за подарочек. Я имею в виду даже не сам виноградник, а то, что к нему прилагается, тот ящик Пандоры, открыть который у меня скоро достанет глупости. Я уверен, что ты уже там, неподалеку, и вовсю забавляешься, любуясь на переполох в этом сонном мирке. Завтра ты будешь в первых рядах. Ты получишь ее, свою месть, свою вендетту. Но где бы ты ни был, я точно доберусь до тебя, если дело обернется кисло.

*****

— А вы не можете еще чуть-чуть задержаться? Буквально два-три денька. Ведь не собираетесь же вы уехать, так и не посмотрев «Избавление святого Павла», «Святого Петра в оковах», статую Моисея работы Микеланджело и еще…

Папаша юного Альфредо уязвлен до глубины души — уезжая из Рима так быстро, я совершаю настоящее святотатство. Но я клятвенно обещаю ему вернуться.

— Я и в самом деле не могу сейчас остаться. К тому же единственный святой, который меня сейчас интересует, мало кому известен…

— Кто это?

— Сант'Анджело.

Долгое молчание.

— Не думаю, чтобы он был отмечен в справочнике Ватикана.

— А вы уверены, что он… из наших?

— О, будьте покойны… Это самый итальянский из всех канонизированных святых. Самый итальянский в мире.

Он удивленно пожимает плечами:

— И почему это?

Я-то знаю, что ему ответить, но предпочитаю промолчать.

Пятница, 11 августа, 16.30.

Еще полчаса автобусной тряски, и я снова окажусь в городке. За время поездки я еще раз отработал свои чертежи. Царапал их вновь и вновь. Я опять хочу увидеть Бьянку. Пытаюсь подремать, но мне, как и в тот раз, опять не удается отогнать от себя образы, про которые я знаю лишь то, что я не единственный их создатель…

…С ноября по январь сорок четвертого года мы впятером просидели в снегу. Соорудили себе шалаш в горах, и я раздобыл себе нож, чтобы мастерить корзины. Мы обменивали их у албанских крестьян на горсть кукурузы или бобов, а компаре, который только то и умел,

стряпал нам из этого что-нибудь к вечеру. По три ложки на едока, да с приглядкой на соседские три ложки, которые всегда казались полнее собственных. Без соли. Если удавалось ею разжиться, то клали по крупинке под язык перед едой. Мы были грязны и оборваны. На мне еще оставалось толстое шерстяное белье, и под каждой его петелькой грелась вошь. Я-то прекрасно знал, что никакие мы не завоеватели. Три месяца мы ждали хоть какой-нибудь весточки, верили каждому слуху о кораблях, которые якобы готовы были отплыть к нам домой. Но в конце концов я стал нищенствовать. А однажды ночью ушел, чтобы добраться до военного госпиталя, про который случайно услыхал. Почти сто километров. Я добрался туда полумертвый от голода и усталости. А там мне сказали, что, раз у меня руки-ноги целы, они меня мобилизуют, чтобы хоронить трупы, а то, дескать, их собаки жрут. И стал я зарывать в землю мертвецов с бутылкой на шее, в которую засовывали бумажку с фамилией. В конце концов я почувствовал себя не так уж плохо и вернулся к остальным. Тогда-то компаре и заставил меня поклясться, что я его больше не брошу.

Сора, конечная остановка. На площади, там, откуда начнется шествие, развешивают синие полотнища. И слепой уже тут как тут, орет смеха ради: «Выше! Выше давай!» — и все вокруг хохочут. Мальчишки, уже возбужденные в предвкушении праздника, носятся как угорелые, размахивая желтыми и синими флажками — цветами города. Вместе со мной из автобуса выходят и римляне, приехавшие сюда специально ради Гонфаллоне. Бегу прямиком к Бьянке. Та спорит о чем-то с новой постоялицей, прикатившей из соседнего округа. Похоже, сегодня к вечеру пансион будет набит битком.

— Повезло тебе. Я могла бы сдать твою комнату уже раз двадцать.

Детвора, галдящая на кухне, бутылочки с молоком на столе, семейные пары, перетаскивающие чемоданы…

— Это счастье, что Гонфаллоне всего раз в году, ammazza… Нет, эта мелюзга мне сейчас телевизор сломает!

Стоило ей заговорить о своем телевизоре, и я вспомнил про одну особую передачу, о существовании которой узнал в Риме. Своего рода хроника, которую не найдешь нигде, кроме Италии. Если мне удастся пробить себе дорогу сквозь группу карапузов, прилипших к экрану ради какого-то дурацкого мультика, может, я ее и не пропущу. Переключив телик на РАИ-1, Бьянка доставляет себе удовольствие по двум причинам: во-первых, тем, что приходит ко мне на помощь, во-вторых — демонстрирует свое всемогущество над волшебным ящиком.

*****

Одиннадцать часов вечера. Городок затих, добропорядочные обыватели набираются сил перед завтрашним состязанием. Пусть себе спят спокойно. Силенки им завтра весьма понадобятся — распахнуть глаза пошире.

Я уже засекал по минутам, сколько времени завтра уйдет, чтобы добраться до виноградника неспешным шагом. Слепой ждет меня, как и договаривались, на том самом месте, где я его покинул в прошлый раз. Этот пьянчуга знает местность как никто другой. Но он ничего не может понять из того, что со мной произошло той ночью. Сам факт, что на меня кто-то напал, его не слишком удивляет, но он клянется головой Сант'Анджело, что уже совсем отключился к тому времени.

— Не дай себя запугать, хозяин. Завтра тебе уже никто ничего не сможет сделать.

Должен ли я верить ему? Быть может, завтра меня ожидает новый кошмар. Но пока надо твердо стоять на своем, да и слепой, кажется, на все готов, чтобы мне помочь. Мы остаемся

там больше часа, чтобы в тысячный раз проверить все детали операции, начиная с кратчайшего пути, ведущего к винограднику через хлебное поле, минуя тропу. В часовне я направляю луч фонарика на голову святого и достаю аэрозольный баллончик, купленный в Риме.

— Ну, не бойся, это для твоего же блага… — Я покрываю источенное дерево статуи прозрачной жидкостью. Запах омерзительный, но меня успокоили, что он развеется за пару часов. Снова смотрю на лик святого заступника. Прежде чем расстаться, похлопываю его по щеке.

— Теперь твой черед! — говорю я ему.

— С кем это ты? С ним, что ли? Ты с ума сошел, хозяин.

— Хозяин тут не я. Он.

Перед уходом любуюсь еще раз, как Дарио обработал остов часовни, как ловко углублены настоящие трещины среди фальшивых, как оштукатурены одни участки стены, а другие, наоборот, ободраны, как толстые несущие балки укреплены хлипкими подпорками. Ей-богу, эта конструкция продумана лучше, чем проекты архитекторов, на которых я горбачусь. Ладно, поглядим.

Мы со слепым идем выпить по стаканчику. Он — чтобы отметить что-то, что и сам не знает, а я — чтобы набраться храбрости. Заодно обговариваем последние детали нашего безумного предприятия. Слепой напоминает мне о кое-каких мелочах, которые я упустил из виду. Дарио — тот все учел. Хитрости хоть и незамысловатые, но придадут сцене убедительность. Например, ведро вина, которое нужно приготовить с вечера и поставить рядом со статуей, чтобы выиграть время. Надеюсь, что мой покойный приятель подумал обо всем. Надо было ему помереть, чтобы я заметил его талант.

— У нас, у итальянцев, много недостатков, но есть все-таки одна вещь, которая нас выручает. Мы умеем выкручиваться. Мы безалаберны? Правда. Склонны к бардаку? Согласен. Но у нас есть дар импровизации. Импровизации! Это было у Дарио, это есть и у тебя, Антонио.

Я не уверен, что это комплимент.

— Мне пора возвращаться в Сору. Ты-то где заночуешь?

— Обо мне не беспокойся, хозяин.

Некоторое время мы молчим. Когда я думаю о нем, мне на ум приходит лишь слово «слепой». Я не знаю его имени.

— Как тебя зовут?

— Марчелло. Но так меня никто не звал.

— Что ты собираешься делать потом?

— А, ты все об этом… Жить буду. Куплю себе радугу.

В последний раз я прошелся по своей земле, прежде чем выбраться на тропу. Раньше этим самым путем мой отец гонял своих индюков, где-то тут неподалеку была его ферма. Больше ее нет.

…Однажды нам с компаре вконец обрыдло такое житье — шляться по окрестностям и подыхать с голоду. И тогда мы принялись обрабатывать землю у тех албанцев, которые соглашались нас нанять. И батрачили так больше года. Хотя глупо, конечно, работать на чужой земле, когда твоя собственная лежит в запустении. Капуста, кукуруза. И еще табачные плантации. Вот с этим нам действительно повезло — с табаком. Единственное утешение, которое у нас было. Ночью тайком от хозяев я сушил листья, но загвоздка была с бумагой. И вот однажды я нашел книгу на греческом. Хотел бы я знать, о чем там говорилось, да только я

всю ее разрезал на полоски, чтобы цигарки крутить. Этой книжки хватило на шестнадцать месяцев. Это была единственная книга, которую я держал в руках за всю мою жизнь, и я ее всю искурил. Мясо-то там водилось — зайцы, кабаны, но албанцы к ним и пальцем не прикасались, им вера запрещает. Они даже огни по ночам зажигали, чтобы отгонять этих кабанов от посевов. Представляешь? Отгоняли, вместо того чтобы жрать! А однажды я втолковал одной ватаге мальчишек, что заяц хорош на вкус. Может, если они там сейчас едят зайцев, так это малость благодаря мне.

Бьянка делает вид, что смотрит телевизор. На самом деле она ждет меня. Я понимаю это по ее улыбке, которую она прячет сразу же, как только я вхожу, и еще по тому простому факту, что она все еще здесь, после такого тяжелого дня. Но особенно — по ее наивному и трогательному наряду. Стиль? Что-то черно-белое, среднее между пай-девочкой и маленькой плутовкой, и с немалым количеством помады на губах.

Она достает из морозилки два стакана и ставит на поднос рядом с диваном. Еще фруктовый шербет — дыня с тутовыми ягодами.

— Расскажи мне чуточку о Париже…

— Ну… Это не Бог весть что…

Говорю так, чтобы не спугнуть ее, но сам думаю совершенно противоположное. Звук ее телевизора мешает мне размышлять. Я щелкаю несколько раз, пока не натыкаюсь на какой-то черно-белый фильм вроде мелодрамы, на котором отдыхают и глаза, и слух. Потом ставлю поднос на пол, беру ее в свои объятия и заменяю своим поцелуем дыню с шелковицей. Мои губы остудили жар ее шеи.

Она не захотела, чтобы я ее раздел, и скользнула в постель первая. Мне было приятно, что темнота скрадывала убожество обстановки, и я подождал, пока ее тело избавится от претенциозных тряпок, попавших сюда явно из другой эпохи. И когда ее нагота, оттененная лишь белизной простынь, открылась мне наконец, я покинул и этот город, и эту страну и оказался там, где чувствовал себя как дома, — в каком-то другом месте, в незамысловатом сновидении, где все становится простым и ясным. Но однако, по мере того как наши тела изгибались и прижимались одно к другому в темноте, я догадывался обо всех взглядах, о едва уловимых жестах, о немых фразах, о робких ожиданиях, о мимолетных приключениях и подавленных желаниях. Как с ее стороны, так и с моей.

Когда прошло уже довольно долгое время, она сказала мне со смехом:

— Антонио… даже когда ты не хочешь… даже когда ты молчишь, ты все равно говоришь со мной о Париже.

5

Топот взад-вперед по коридору, кудахтанье капризничающей детворы и, для полноты картины, полувоенная побудка, которую устраивает мне Бьянка, барабаня в дверь. Все вместе принуждает меня открыть глаза.

— Я до последнего ждала, чтобы дать тебе выспаться. Но как бы тебе не пропустить начало.

— А ты пойдешь на праздник, Бьянка?

— Мне надо заняться моими стариками, да еще друзья подкинули ребенка. Кажется, местное телевидение будет снимать состязания. Так что я не все пропущу.

Не спеша, я принимаю душ и пью кофе, поглядывая из окна на площадь. Здесь толпится и гудит уже все население городка — мужчины, женщины, дети и все остальные. Кажется, одна Бьянка остается присматривать за Сорой. Впрочем, сторожить город ей будет особенно не от кого, так как все воры и мошенники тоже уйдут на праздник. Отец мне частенько о нем рассказывал, об этом Гонфаллоне. Раз в году жители пяти окрестных городков сходятся все

вместе, под своими значками и цветами, словно индейские племена, и решают ненадолго объединиться в одну нацию. Шествие движется больше часа, пока не прибывает на перекресток пяти дорог. Там уже приготовлено огромное ристалище, где специально отобранные для этой цели мужчины приложат массу бессмысленных усилий, чтобы восторжествовало знамя именно их городка. Стрельба из лука, перетягивание каната и прочие мускульные подвиги. А вокруг трибун — столы, ярмарка, народное гуляние и пыль столбом до самой ночи. И когда город-победитель будет назван и ему будут отданы надлежащие почести, забудется все — и цвета, и знамена, и города, и игры. Останутся лишь тысячи пьяных, готовых колобродить до самой поздней ночи.

Толпа растет на глазах, и мэр с мегафоном в руках говорит всем «добро пожаловать». Я торопливо одеваюсь, чтобы не пропустить отбытие. С ходу врезаюсь в скопление народа и начинаю озираться по сторонам, спрашивая себя, куда мог подеваться Марчелло. Потом слышу, как он орет свою песню, будто оглашенный, всего в нескольких метрах от меня. Он дерет когтями струны своего банджо и импровизирует куплеты на какой-то местный мотивчик, чем несказанно веселит окружающих. Его черные очки по-прежнему внушают мне страх. Но, в конце концов, вносить оживление — это его профессия. Мэр подает сигнал к отправлению. Я в этот момент оказываюсь зажатым между двумя дамами с их корзинками. Вижу впереди Манджини, который беседует о чем-то с соседями; он оборачивается и приветствует меня. Слепца Марчелло тащит за руку какой-то молодой парень и вторит его песне словно эхо.

Меня охватывает страх.

Еще есть время положить конец этому фарсу.

Не отдавая себе в этом отчета, я начинаю приволакивать ногу. Идущие за мной тихонько меня подталкивают, словно утверждая: все, уже поздно, раньше надо было думать. И только сейчас я оцениваю степень риска. Слишком уж он велик. Если в плане Дарио что-то не сработает, меня ожидает не только тюрьма, но и пожизненное проклятье.

Выходим на дорогу. Тропа, ведущая к винограднику, совсем рядом. Мы шагаем слишком быстро, боюсь, я ошибся в расчетах. Сердце мое начинает колотиться сильнее, я стискиваю зубы. Повсюду ищу взглядом Марчелло и не нахожу. Молодой человек, тащивший его, разговаривает теперь с какой-то девушкой. Как и предполагалось, слепой уже потихоньку смылся. Смотрю на часы: через десять минут пройдем рядом с этой проклятой землей. Значит, или теперь, или никогда — самое время заговорить с туземцами. Прохожу мимо Манджини, который снова мне кланяется. Завязывается беседа, но о чем он говорит, понять никак не могу. Это страх. Я уже ничего больше не жду, ни на что не надеюсь. Он улыбается. Какого черта тянет слепой? Смотрю на часы. Три раза подряд. Люди вокруг меня чему-то весело смеются, меня все сильнее окутывает туман.

— Долго вы собираетесь пробыть у нас?

Марчелло, какого черта ты делаешь? Дарио, будь ты проклят, все это из-за тебя. Сине-желтые полотнища вот-вот проплывут мимо тропинки.

— Господин Польсинелли?.. Вы меня слышите?..

— А?..

— Я спрашиваю вас, долго ли вы собираетесь пробыть в Италии?

— …

А что, если вернуться? Дать задний ход, ни с кем не попрощавшись, даже не собирая чемодан, прошагать до ближайшего вокзала, дождаться ближайшего поезда на Рим… и вновь оказаться в Париже.

— Не заглянете ли как-нибудь на обед, а, синьор Польсинелли? Вы хорошо себя чувствуете?

Мое сердце сейчас лопнет, моя голова тоже лопнет. Я уже различаю первые ряды виноградника, минуты через две процессия пройдет мимо и двинется дальше своим путем. И все полетит к чертям. И Марчелло, и Дарио, и я заодно с ними. Святой заступник, почто оставил меня…

— Надо бы вам отдохнуть, господин Польсинелли.

Оставил…

Я сейчас еще чуть-чуть подожду, прежде чем выйти из колонны. В своем воображении я из нее уже давно вышел. Я ни за кем больше не иду. Я тащусь вперед как зомби. Я устал.

Я разочарован.

Не серчай на меня, Дарио.

Это была прекрасная идея, но и ее следует предать забвению. Я хотел сделать это ради тебя, ради памяти о тебе. И ради себя тоже. И еще ради моего отца. Ему бы это понравилось. Ему нравится все, что ломает заведенный порядок. Он бы нами гордился.

Вдруг какое-то оживление. Меня толкают. Я спускаюсь на землю и снова оказываюсь посреди толпы. Шествие растекается во все стороны, чтобы рассыпаться окончательно, словно охваченное паникой. Откуда-то спереди доносится крик десятков голосов:

— Fuoco! Fuoco![14]

Я поднимаю голову.

Огонь…

Да, огонь. Толпа стекает с дороги, чтобы хлынуть волной на мои земли. Я сам захвачен ее порывом. Огонь… Они увидели огонь… Словно еще не веря, я хватаю за рукав первого встречного и спрашиваю его, что случилось.

— Да вы посмотрите вперед, porca miseria! Смотрите!

Толпа вопит и устремляется в виноградник. Поднявшись на цыпочки, я наконец вижу.

Огненный пузырь. Один, прямо посреди моих арпанов. На диво круглый. Совершенно сказочный. Больше мне нечего тут делать. Разве что смотреть. Стараться не поддаваться всеобщей панике. И восхищаться огненным вихрем.

Вдалеке уже кричат в мегафон, что слишком поздно, что часовенке уже ничем нельзя помочь.

Огонь охватывает ее в один миг. Несколько человек суетятся вокруг, пытаясь как-то остановить пожар. Но очень быстро у них опускаются руки, и они лишь безучастно смотрят, как огненное чрево поглощает жалкую хибарку.

Крики смолкают, и толпа застывает в неподвижности, окаменевшая, загипнотизированная открывшимся зрелищем. На глазах жителей Соры сгорает часть их собственной истории.

Проходит несколько минут. Часовня вот-вот рухнет окончательно. О чем сейчас думают эти две тысячи крестьян, которые передавали историю этой развалюхи из поколения в поколение? Они стоят молча. Им стыдно, что по их вине она пребывала в запустении столько лет. В сущности, она мертва уже давно.

Внезапно раздается первый треск. Над толпой поднимается смутный гул. Они ждут — в волнении, с колотящимися сердцами… Они хотят видеть. Языки пламени вздымаются к самому куполу и охватывают его в несколько секунд. Пожар весело лижет руину, словно какое-то лакомство, леденец, прежде чем проглотить. Никакого сопротивления. Наоборот, совершеннейшая податливость. Высоко-высоко вздымается длинный огненный язык. Опять треск. Я стою, раскрыв рот, опустив руки, как и все прочие, в ожидании неминуемого.

Когда стены начали прогибаться, толпа резко подалась назад.

И сразу после этого две смежные стены упали со зловещим грохотом. Уступив натиску огня, они обрушились наружу, словно их нарочно растащили в противоположные стороны. Купол свалился далеко позади. Часовня раскрылась, словно цветок, и в этот самый момент толпа закричала.

Костер вспыхнул вокруг лежащих стен с новой силой, будто желая показать всю свою мощь. Но лишь на несколько секунд.

А потом…

Посреди пламени и черного дыма, когда все уже, казалось, было кончено… Нам явился святой.

Все такой же прямой на своем каменном постаменте.

Невредимый.

Со взглядом еще более суровым, чем когда бы то ни было.

Сант'Анджело испытующе глядел на толпу.

Какая-то женщина рядом со мной опустила голову и прикрыла глаза рукой.

Он стоит среди тлеющих и потрескивающих обломков, целый и невредимый, словно ни одна искорка не посмела коснуться его.

Он странно блестит.

Несколько человек в первых рядах пятятся задом.

Одна женщина теряет сознание, и ее относят в сторону без единого возгласа.

Метрах в десяти от меня какая-то чета преклоняет колена.

Дым рассеивается, костер агонизирует. На нас мягко нисходит тишина, леденящая душу. Под разверстыми небесами Сант'Анджело брезгливо глядит на нас с высоты своего величия. Именно таким мы его видим.

И я вместе со всеми. Я все позабыл.

Через какое-то мгновенье, точнее, целую вечность спустя, кто-то дерзнул нарушить молчание. Безумец. Вытянув руку, вихляясь, словно шут, он приблизился к статуе, и женщина рядом со мной поднесла руку к груди. Медленным шагом он приблизился к самому подножию.

Сант'Анджело весь лоснится и блестит.

Человек секунду колеблется, словно боится сгореть.

Потом его рука прикасается к статуе, гладит святого, он недоверчиво таращит глаза. Затем оборачивается к толпе и говорит:

— E vino…

Струящийся шепот разносит его слова до самых последних рядов.

— E vino! E vino!

«Это вино!» Да, это вино. Сант'Анджело истекает вином — потеет вином и плачет вином. Своим вином.

Кричат женщины и дети, толпа приходит в движение, напирает чересчур сильно. Тот, кто первым коснулся святого, закачался и ничком упал на землю. Кто-то бросился к нему на помощь.

И вдруг душераздирающий крик перекрыл все остальные голоса. Кричит человек.

Вокруг него образуется круг. Я пытаюсь приблизиться, яростно расталкивая людей на своем пути. Я не хочу пропустить ни крупицы из этого зрелища. Человек стоит на коленях и, не смолкая, хрипло воет.

Падает на землю, закрыв лицо ладонями.

Никто не осмеливается прийти к нему на помощь. Из страха. Я хочу видеть. Он плачет и причитает, как малый ребенок.

Это Марчелло.

Он ползет на локтях и коленях к статуе. Люди расступаются на его пути. Он рыдает все сильнее и сильнее. Он влачится по грязной земле, пока не достигает наконец подножия. Над людским сборищем поднимается крик: «Lo cieco! Lo cieco!» Да, это он, слепой, разыгрывающий роль страдальца у ног святого. Он вскрикивает еще раз, отнимает руки от лица и падает, словно лишившись сил.

На всех нас опускается покров полнейшей тишины.

Марчелло лежит, оставаясь без движения довольно долгое время. Потом его руки скользят по лицу и опять падают на землю…

Он поднимает голову. Глядит на небо. Потом на нас. На нас.

Его глаза широко открыты.

Он поворачивает голову к святому и простирает к нему руки. И вновь падает замертво.

К нему подходит какой-то старик, теребит за плечо. Марчелло резко его отталкивает:

— Не трогайте меня! Не трогайте меня!

Я пробиваюсь в первые ряды. Марчелло обводит нас долгим взглядом. И снова оборачивается к святому.

— Мои глаза!.. Мои глаза!.. Сант'Анджело… теперь я тебя вижу…

Его глаза плачут и смотрят на толпу.

— Я и вас вижу… Всех вас!

6

Девять вечера. Днем их еще можно было сосчитать. Новость тотчас же разлетелась по окрестным городкам, и все, кто собирался на Гонфаллоне, теперь толпятся здесь. Две тысячи, потом три тысячи, потом шесть тысяч душ. Одни — преклонив колена, другие — в молчании, молитвенно сложив руки. Кто-то комментирует событие, рассказывая подробности вновь прибывшим, другие нервно бродят вокруг. Похоже, в этом году состязания не состоятся. Но от такой замены никто не проиграл, и люди приготовились к ночному бдению совсем другого рода.

Сант'Анджело вернулся.

Скоро ночь. Лотки и палатки уже перенесли сюда. Можно попить и поесть. Местное телевидение прикатило еще до полудня, чтобы сделать свой первый репортаж. Потом, ближе к вечеру, явилась команда РАИ, торопясь поспеть со своим прямым включением к двадцатичасовым теленовостям.

Я посмотрел одним глазком на монитор, другим — на тележурналиста с микрофоном наперевес в пятидесяти метрах от пепелища. Забавно, но именно на этом маленьком экранчике мне по-настоящему раскрылся истинный смысл события, словно все, что произошло здесь за это время, было лишь путаным сновидением, словно вещи видятся яснее, когда кто-то тебе их показывает. Бесстрастный комментарий, крупный план лица статуи, панорама на пепелище, наезд на коленопреклоненных, показ различных реакций «очевидцев чуда»… Чудо… Miracolo…

Немало времени прошло, прежде чем было брошено это слово. Надо быть по-настоящему в этом убежденным, чтобы решиться, как этот комментатор, поведать о случившемся на всю Италию. Напомнив о первом появлении святого в 1886 году, он протягивает микрофон одному из свидетелей со словами: «Итак, сегодня утром Сант'Анджело снова явился нам…»А крестьянин с открытым лицом искренне говорит, размахивая руками: «Вначале мы увидели огненный шар…»

Он соединяет кончики своих десяти пальцев, делая из них подобие сферы, и раскрывает ладони: «…и часовня развалилась надвое, вот так… словно ореховая скорлупа».

Мне вспоминается Бьянка, прикованная к своему телевизору.

Чуть поодаль группа людей, одетых по-городскому, обсуждает техническую сторону вопроса. Меня это заинтересовало. Я подошел поближе. Почему свод не обрушился на статую, откуда взялась эта винная пленка? Все они говорят одновременно, понизив голос, потом вдруг замолкают без всякой видимой причины.

Меня так и подмывает прийти им на помощь — поразить, показав чертежи с отмеченной трещиной, разделяющей часовню пополам, а также все стратегические точки на каркасе здания и несущей балке, которая была зажжена в первую очередь, чтобы избежать обрушивания вовнутрь. Но все чертежи тоже обратились в пепел, сгорев в пепельнице моей комнаты. Или, может, поведать им, хвастовства ради, то немногое, что я узнал в Риме о способах придания дереву огнестойкости? Но я зарыл аэрозольный баллончик глубоко в землю, где-то в винограднике. Что же касается вина, которым сочилось тело святого, то об этом я тоже мог бы немало порассказать. Начиная с технической стороны всех тех чудес, которыми пестрели газетные хроники последних лет и которые я внимательно изучил. Самовозгорающиеся церковные врата, потеющие оливковым маслом иконы, плачущие статуи Христа и святой Лючии, кровоточащие изображения святых и даже смешение того и другого — бюсты, плачущие кровавыми слезами. Так почему бы и нашему Сант'Анджело не вернуться к нам в спасительной оболочке из вина, которое он сам же и назвал своим и на которое век спустя все дружно наплевали?

Мой взгляд блуждает по сторонам. Я подмечаю, как различно ведут себя люди. Вот священник Соры, дон Николо, в сопровождении двух молодых семинаристов. Его преследуют, стараются ухватить за руку, просят высказаться, но, по всей видимости, он к этому отнюдь не стремится. Вне моего поля зрения комментатор РАИ рычит на ассистентку, которая только что сообщила, что ей так и не удалось после долгих часов уговоров склонить к интервью единственного свидетеля чуда, которого хотелось бы увидеть и услышать всем. Вот камера наезжает на него:

«Еще не оправившийся от шока, господин Марчелло ди Пальма пока предпочитает удалиться с места событий. Но сейчас рядом со мной находится один из его ближайших друзей, который присутствовал при исцелении».

«О, Марчелло… конечно, как не знать, его все тут знают, это наша местная достопримечательность. Он всегда жил подаянием. А глаза, это у них семейное, болезнь то есть. Еще его отец… добрая душа… он тоже ею болел… Я-то хорошо старика помню, мы ведь с Марчелло погодки, сами понимаете… И Марчелло тоже ослеп, как и отец, когда ему было лет двенадцать-тринадцать…»

«Ближайший друг» мямлит, подбирая слова на диалекте, недоступном для понимания слушателей на половине национальной территории. Единственное, что при этом чувствуешь, это те колоссальные усилия, которые он затрачивает, чтобы не произносить слово «слепой», рассказывая о Марчелло. Но историю слепого я знаю получше, чем любой из здешних уроженцев.

На самом деле никуда он отсюда не удалялся, просто ему отгородили утолок в амбаре, чтобы он мог оклематься немного. С тех пор как его коснулась благодать, только дону Николо и доктору удалось с ним поговорить. Уже договорено, что через несколько дней он пройдет полное медицинское и психологическое освидетельствование. Но, нравится это кому-то или нет, все вынуждены примириться с очевидностью — он теперь зрячий.

Журналист прервал свою передачу, потом возобновил четверть часа спустя, и первая картинка, которая появилась на мониторе, — это вид моего виноградника.

Мой виноградник показывают по телевизору…

Малый вещает в микрофон официальным тоном:

«Мы с минуты на минуту ожидаем интервью с виноделом, который в течение многих лет производил вино Сант'Анджело…»

Ах да, этот Джакомо… совсем про него забыл. Вот уж не знаю, как он справится с этой задачей — говорить перед микрофоном, — это он-то, который глаз не поднимает от своих сапог, а рот открывает только для того, чтобы извиниться.

Продолжаю свою прогулку по этому гигантскому живому полотну, словно по какой-то постапокалиптической фреске Джотто — массы людей, сидящие, коленопреклоненные, сбившиеся в кучи, разговаривающие, прикрывая рот рукой. И еще истоптанная и местами развороченная земля.

Опускаются сумерки. Появляются светящиеся точки — свечи, лампады, не знаю, что там еще. И все остальное, невидимое, но давящее на плечи, тишина, которая исходит с высот, ледяное дыхание иррационального, сосредоточенность верующих, выжидание скептиков, страх, как бы опять чего-нибудь не случилось. Кто знает? Ведь вера творит чудеса. Без этих людей и без их желания уверовать ничего бы не произошло.

Время от времени в толпе украдкой показывают на меня. Этого тоже следовало ожидать. Я их почти слышу:

«Вон тот тип, там… да, тот самый… это и есть хозяин виноградника… Француз. Сын одного из местных, из Соры… В Париже живет… Вино нашего святого… оно все ему принадлежит… ему одному… Ammazza!»

А ты, Дарио? Что ты на это скажешь? Ведь все произошло именно так, как ты и предвидел, не так ли? Ведь мы с тобой тысячу раз прокрутили этот фильм, а? Надеюсь, что оттуда, где ты сейчас пребываешь, тебе видно все. Потому что, в конце концов, именно ты осуществил постановку этой эпопеи. Хотя стоит мне только подумать о той цене, которую я вынужден был заплатить, чтобы разгадать твое загробное послание… Ты мог бы выражаться и яснее. Но чудо все ж таки произошло. Хотя и помимо него случилось достаточно других чудес, помельче, которые касались уже только меня одного… явлений, которые видел только я, событий, о которых, кроме меня, никто никогда не узнает. Ты многих надул со своим пресловутым возвращением на родину — свою мать, мадам Рафаэль, — они до сих пор твердо в него верят. Хотя повстречать тебя здесь как-нибудь погожим октябрьским утром, согнувшимся под тяжестью корзины, полной гроздьев, и было бы настоящим чудом. Я горд собой, горд, что почуял подвох с самого начала. Но признаюсь, что такого грандиозного финала даже я не ожидал.

Телевизионщики упаковали в автобус свой багаж. Местные возвращаются в город, но со всех сторон продолжают прибывать на машинах любопытные. Среди них есть и настоящие паломники, которые торопятся занять место уставших и лишившихся праздника поселян. Если бы попытаться сейчас установить цену за один только взгляд, брошенный на святого, то он обошелся бы недешево. Движимый этой же мыслью, ко мне явился робкий Джакомо, сразу же после своего телевизионного дебюта. О чем он со мной будет говорить, я знаю еще до того, как он откроет рот. Но прикидываюсь простачком. Сегодня я заставлю этого малого пережить такое, что перевернет вверх дном всю его спокойную и размеренную жизнь.

— Синьор Польсинелли, меня тут все спрашивают насчет вина… Лоточники говорят, что хотели бы прикупить у нас немного. А я даже не знаю, что делать. Вот я вам и отдаю ключ от амбара.

— Знаете, Джакомо, сегодня столько всего случилось, что у меня сейчас сердце не лежит этим заниматься. Может, завтра…

— Но… хозяин. Многие, очень многие просто требуют… Вы представляете, хозяин… Я уверен, что мы могли бы сейчас запросто продать мерок десять… а то и вдвое больше.

Он склоняется к моему уху. Выражение наивности в глубине его глаз исчезло, испарилось. И, может быть, навсегда.

— И мы даже можем запросить за литр на тысячу лир больше, все равно уйдет.

— Вы думаете?

— Уверен. Даже две тысячи.

Лишь какая-то лицемерная щепетильность помешала мне ухмыльнуться. Оказывается, этот робкий господин весьма силен в устном счете. Прямо самородок какой-то. Кто бы мог подумать, что еще вчера он чуть не даром сбыл бы бочонок вина любому, кто не поднял бы его на смех. С другой стороны, это прекрасно решает мои проблемы. Вот он — готовый коммерческий директор. Он и так уже на верном пути, достаточно лишь чуть подтолкнуть его.

— Сегодня мы вино из погреба брать не будем, но мне кажется, что у входа в амбар оставалась одна бочка… Назначьте цену сами.

Он благодарит меня с понимающим видом и уносится к своему бочонку со всех ног.

В толпе нарастает волна перешептываний и докатывается наконец до меня. Вижу вдалеке врача, прокладывающего себе путь.

Одной даме стало нехорошо… головокружение…

Не думал я, что такое все-таки случится. Честно говоря, я на это устал надеяться. Хотя, если судить по всей той литературе, которую я прочел по данному вопросу, то нет ничего легче для объяснения, чем феномены подобного рода. Они почти неизбежны. Нервное напряжение, усталость, людская скученность, общее настроение, экзальтация — все вместе порождает у некоторых особо ревностных верующих что-то вроде желания пострадать. Внезапная боль, которую вдруг испытывает впечатлительный человек, действительно заставляет его качаться из стороны в сторону. В нашем случае речь и вправду идет об одной верующей, которая тут с самого утра. После ужасных судорог во всех членах у нее теперь сильная слабость. Пострадавшую относят к машине «скорой помощи». Похоже, еще одно чудесное исцеление не состоится. Но этот случай оживил толпу. Она волнуется. Сейчас достаточно малейшего знака, чтобы ее потребность веровать усилилась в несколько раз.

Что касается меня, то я от всего этого начинаю уставать. Отправляюсь съесть жареное баранье ребрышко и запить пивом. Я в одной только тонкой рубашке и поэтому немного дрожу. Дорого бы я дал, чтобы вернуться сейчас к Бьянке и наблюдать за событиями по местному телевидению, сидя в тепле, в мягком кресле.

Джакомо опять разыскивает меня повсюду и наконец находит. Сам он чуть не плачет, поэтому наверняка недоумевает, как мне удается сохранять такое спокойствие.

— Я больше не могу их сдерживать, хозяин… Они там все разнесут, если я им не открою еще одну бочку… За сегодняшний вечер я мог бы продать все… Все!

— Продашь завтра.

— Но зачем же ждать до завтра? Из одного только бочонка я выжал такую цену, что даже не осмеливаюсь вам сказать, хозяин…

Он протягивает мне пачку банкнот. Сам не знаю почему, но я отвожу взгляд.

— Сохрани пока все у себя, Джакомо. Но храни хорошенько.

— Что вы хотите сказать, хозяин?

Молчание. Я выдерживаю паузу. Потом спрашиваю у него, не найдется ли в амбаре чего-нибудь теплого, свитера например. Он говорит, что есть старая куртка. Благословляю за это небеса.

Ночь, похоже, будет долгой.

Вчера их было семеро. Некоторую надежду я смог оставить только троим. Остальные уехали несолоно хлебавши, хоть и явились в виноградник раньше меня. Сант'Анджело принялся за работу всего-то девять дней назад, а я уже с ног валюсь под натиском этих типов, которые понаехали сюда со всех концов Италии с предложениями гиблых идей и гнилых контрактов.

— Господин Польсинелли, вы подумали над моим вчерашним предложением?

— Послушайте, господин Польсинелли, вам же обязательно надо подать жалобу!

— Можно вас на секундочку, господин Польсинелли? Вы подумали об экспорте? Скорее всего, в Европу, но будьте осторожны!

— Я покупаю у вас тридцать черенков. Ровно тридцать! Назовите вашу цену!

Мне предлагают все, что угодно, — от скупки всего урожая на корню, попросту и без затей, до увеличения выпуска продукции впятеро, с какими угодно наклейками. Что касается наклеек, то их притащили два каких-то типа в галстуках, и я долго смотрел, как они с ними мудрят.

Сначала были только виноторговцы, скупщики винограда, коммерсанты и производители дешевого красного вина. Потом к ним добавилась целая когорта дельцов, занимающихся выпуском благочестивых картинок и прочим барахлом, с намерением запечатлеть Сант'Анджело. Они хотят поставить вдоль границ участка цепь киосков. Дескать, виноградник от этого не пострадает. Все, что мне останется делать, это прийти и собрать с них арендную плату в разгар сезона. Не знаю, что об этом и думать.

Меня быстро завалили делами подобного рода. По счастью, через три дня после чуда явился предложить свои услуги некто вроде бухгалтера, похожий на Лаки Лучано. Джакомо тотчас же прозвал его dottore из-за его маленьких очечков, многочисленных дипломов и упорного нежелания улыбаться. Это настоящее сокровище. Он занимается всеми встречами и не пренебрегает ни одним предложением. Когда он показывает мне свои выкладки с плотными рядами цифр, можно подумать, что это план наступления, подготовленный генеральным штабом.

Однако все расчеты, которые производил я в своей маленькой голове, были просты. Правда, только до тех пор, пока это не закрутилось. Тридцать тысяч литров из непроданных запасов по пятьдесят франков за бутылку емкостью 0,75 дают нам два миллиона франков плюс рента — получается порядка пятисот тысяч франков в год за вычетом издержек. На этом я вполне мог бы остановиться и жить припеваючи на лоне природы до конца своих дней. Но с тех пор как бизнесмены всех мастей сунули в это дело свой нос, мои примитивные прикидки забылись сами собой.

Джакомо сделался превосходным заведующим производством. В ожидании сбора винограда он нанял шестерых подручных. А пока один из парней откомандирован им встречать прибывающих паломников — в среднем три сотни за день. Другой заправляет автостоянкой. Третий торгует в розницу из расчета: одну бутылку в одни руки в один день. Джакомо следит и за прочими работами — постройкой каменщиками алькова, который защитит святого на будущие века, реставрацией самой статуи выписанным из Милана специалистом, прокладкой к святому месту асфальтированной дорожки и установкой вокруг виноградника электрифицированной ограды. Я провожу свой день, дирижируя этим бардаком, выслушивая предложения всех доброхотов и подводя баланс вместе с дотторе, который разделывается с подсчетами, как пулемет Томпсона с камамбером. Бьянка будит меня каждое утро в шесть часов и видит — загнанного, разбитого, умирающего от голода — в одиннадцать вечера. Кое-кто из этих хищников тоже снял угол у нее, чем пользуется вовсю, чтобы не давать мне покоя даже в моей комнате, и пытаясь вынудить меня что-то подписать в обход дотторе. Именно благодаря их проискам я понял, что этот парень для меня просто незаменим.

Сора стала центром притяжения для паломников и любопытных. Торговля идет бойко, рестораны и гостиницы полным-полны. Некоторые из них даже сменили название; так, одну тратторию перекрестили в «Трапезу Сант'Анджело», и у нас теперь есть даже отель «У виноградника». Но когда я вечерами возвращаюсь домой, на меня смотрят недобрым взглядом. Может, они злятся на меня за то, что я все тут перевернул вверх дном к концу лета?

Явился мэр пригласить меня на заседание муниципального совета. С какой стати, я так и не понял. Нотариус просит заглянуть к нему в контору, чтобы подетальнее разобраться с каким-то там пунктом. Когда я прохожу через рынок, меня хлопают по плечу и поздравляют со скрежещущим смешком. Явился какой-то старикан и заявил, что был близко знаком с моим отцом в те поры, когда тот еще пас своих индюков. Другой выдавал себя за отдаленного родственника. Пятнадцатилетние девчонки свистят мне вслед, когда я прохожу мимо, и пытаются в меня плюнуть. Все тут меня зовут lo straniero. Иностранец. Мне всегда раньше говорили, что эмигрант останется эмигрантом, где бы он ни был. Теперь я начинаю это понимать. Но дело осложняется тем, что этот иностранец заставил плодоносить их собственную землю. Я чувствую, как тучи сгущаются надо мной, и Бьянка все время умоляет меня быть поосторожнее.

Но по сравнению с тем, что случилось на следующий же день после чуда, все это кажется пустяками. Вот когда я струхнул по-настоящему.

По просьбе епископа Фрозинонской епархии Ватикан назначил расследование и выслал двух своих эмиссаров, чтобы те изучили явление на месте.

В общем, обычная процедура. Я знал, что это должно было произойти рано или поздно, я их почти ждал. И все же к появлению черной «ланчии» с номерными знаками государства Ватикан я оказался не готов.

Представьте себе две гранаты в штатском. Два молчаливых субъекта, таких серьезных, будто вот-вот предадут кого-то анафеме. Скромные и вежливые, но при этом обладающие достаточной решимостью, чтобы расчистить себе проход в любой толпе. Стоило только им ступить ногой на землю, как толпа верующих тут же расступилась, словно воды Чермного моря перед Моисеем. Тут-то до меня и дошло, что шутки кончились. Они копались на пепелище добрую неделю, пытаясь извлечь оттуда неведомо что с помощью замысловатого оборудования, которое с каждым днем становилось все замысловатее и замысловатее. Не произнеся ни единого лишнего слова и не пытаясь вступить в контакт со мною или с Джакомо. Две хладнокровные ищейки, роющиеся в горячих камнях и обнюхивающие статую с ног до головы. Два папских нунция с повадками частных детективов — безмолвные, сосредоточенные на тайне, ищущие малейший просчет, сомневающиеся во всем, даже в очевидном. Наблюдая, как они рыщут повсюду, я понял, что им нужен виновный. Они навели в городе справки и по поводу Марчелло. Доктор, который к ним присоединился, пытал исцеленного два дня подряд. И в течение всех этих сорока восьми часов никто не мог с бывшим слепым и словечком перемолвиться.

Ты-то все это предвидел, верно, Дарио? Хотя нет, конечно же нет, ни одного из последствий твоей блестящей идеи ты и вообразить себе не мог.

И теперь тебе на это плевать, да? Ты ведь не подозревал даже, что такие типы, как эти двое сыщиков, существуют на свете.

Сегодня утром прибыли трое других. В «Мерседесе-600», тоже с ватиканскими номерами, который они оставили, не доезжая до виноградника. Три седока, один водитель. Но из машины вылез только один из них в сопровождении молодого священника-секретаря. Те два эмиссара, которые рыскали неподалеку, чуть не на брюхе поползли, завидев эту фиолетовую тень, медленно приближающуюся к статуе Заступника. По рядам паломников пробежала смутная волна, и они дружно устремились навстречу. Дон Николо побледнел. Они

все преклоняли колени, прежде чем поцеловать его перчатку. Потом они около часа о чем-то переговаривались в машине, и никто не осмеливался даже близко к ним подойти. Долгое время спустя за мной явился секретарь, чтобы представить епископу. Я не знал, как себя держать, и встал на одно колено перед его сутаной, сверкающей на солнце. Странно, но лишь когда я коснулся его перчатки, до меня дошло, что все это уже чересчур. Добром это не кончится, и не миновать мне тюряги.

Месса?

Да, они хотят отслужить мессу послезавтра утром прямо под открытым небом. Официальную мессу, которую почтит своим присутствием сам епископ. Такова традиция. Мне не о чем беспокоиться, секретарь и дон Николо все возьмут на себя. Разумеется, земли не пострадают.

— Они ведь для нас слишком ценны, не правда ли, монсеньор? — сказал секретарь, улыбаясь своему начальнику.

В течение всего того времени, что длилась наша беседа, я косил глазом в сторону силуэта, который по-прежнему маячил в машине. Загадочный пассажир вылез наружу лишь после того, как я довольно далеко отошел по тропе, ведущей из виноградника.

*

На дороге мне повстречался Манджини с ружьем в руке. Из его ягдташа свешивались кроличьи лапы. Взамен вежливого обращения ко мне в третьем лице он перешел на «ты». Мне показалось, что он почти до крайности обеспокоен.

— Не дай им себя запугать, всем этим, Антонио. Я их тут понавидался, этих проныр, которые наобещают с три короба, да и попов тоже. Говорю тебе: не дай им себя облапошить. Видишь там свет, за теми деревьями? Там мой дом. И вот что я хочу тебе сказать… Хотя даже не знаю, зачем я это говорю… Но если тебе понадобится совет… или нужно будет укрыться… Ты всегда можешь зайти, когда захочешь.

Я не пытался понять. Я только протянул руку, а он открыл объятия и прижал меня к себе.

Проходя по Неаполитанскому мосту, я увидел группу мопедов, выставленных вдоль террасы последнего открытого кафе Соры. Приметив меня, компания молодых парней, развалившихся на оранжевых пластмассовых стульях, вдруг перестала горланить. Последовали несколько секунд гробового молчания, пока я проходил мимо. А потом сзади меня раздался настоящий концерт — гудки и рев моторов. Вскоре мальчишки, сидя верхом на своих машинах, стали шнырять вокруг меня, пытаясь толкнуть или преградить дорогу. Они развлекались, обзывая меня stronzo, disgrazzlato и выкрикивая кучу других ругательств. Я ускорил шаг, сожалея о ружье Манджини, единственном орудии, которое могло бы выравнять соотношение сил. Какой-то курчавый коротышка на полном газу шлепнул меня по затылку — я не сумел вовремя увернуться. Меж тем заметно было, как в темноте закрываются ставни и приоткрываются двери.

— Чего вам надо, кретины? — заорал я.

Они притормозили метрах в десяти от меня. Я пересек улицу, они тоже свернули к противоположному тротуару. На какой-то момент игра возобновилась. Не знаю точно, чего они хотят. Наверняка они и сами того не знают. Конечно, им хочется подразнить меня — из ревности, из мести. Я у целого города вызываю раздражение, и к этому надо быть готовым. Но пока только молодежь осмеливается проявлять его столь явно, да и то вдесятером против одного и среди ночи. Один из них, наверняка самый отчаянный, перегораживает мне путь и окидывает насмешливым взглядом.

Эти несколько дней по-настоящему меня утомили. С меня, пожалуй, хватит. Самое время возвращаться.

— Эй ты, хватит выпендриваться! Если хочешь, чтобы я убрался из вашей дыры, дай пройти!

Он поворачивается к остальным и вопит во всю глотку, повторяя мои слова. Они гогочут все вместе, передразнивают, повторяя мои ошибки в произношении. Заводила говорит со смехом:

— Тебе?.. Убраться?.. Да что ты! Мы тебя тут все слишком любим, чтобы отпустить.

При этом он, раскачиваясь, сидит на своем драндулете. Улучив момент, когда он обернулся к остальным, чтобы посмеяться вместе с ними, я влепил ему увесистую затрещину, свалившую его наземь, и бросился бежать к Бьянкиному дому под рев акселераторов.

На последнем издыхании я захлопнул за собой дверь. Они еще долго молотили в нее, прежде чем убраться восвояси. Бьянка вся дрожала.

— Хочешь, я пойду спать в какое-нибудь другое место?

— Я не за себя боюсь, Антонио…

*

Она разбудила меня лишь около девяти часов, резонно полагая, что мне необходимо выспаться.

— Можешь не торопиться, Антонио. Дотторе зашел сказать, что сам займется сегодняшними встречами.

Одной этой фразы хватило, чтобы мне снова захотелось лечь.

— Тут один тип из Красного Креста заходил насчет пожертвований. Я его послала… к Сант'Анджело.

Они хотят моей крови. Все. Не знаю, смог ли бы Дарио выдержать дольше, чем я. Включаю телевизор. Как раз нужная передача. Бьянка пристраивается рядом, меж двух подушек.

Хроника чудес по РАИ, что-то вроде хит-парада, который длится минут десять и повествует о культовых новостях и всяких чудесных явлениях по всей стране. Сегодня в программе: знамение на Сицилии, короткий сюжет о Туринской Плащанице, которую подвергают радиоуглеродному анализу (Бах в качестве музыкального сопровождения), и вновь о чуде Сант'Анджело с энным повторением основных фактов и объявлением о завтрашней мессе с епископом. Настоящее событие, как выразился комментатор.

Я все предусмотрел. Кроме фиолетовой сутаны. Бьянка в восхищении и не понимает, почему я вовсе не разделяю ее восторгов.

Наконец объявляют сюжет, которого я жду не дождусь. Отсроченное и переотсроченное интервью с «чудесно прозревшим из виноградника».

Я лично присутствовал при этой съемке. Телевизионщики тогда еще попросили у меня разрешения снимать непосредственно в амбаре. Марчелло был великолепен. Как только он появляется на экране, Бьянка вскрикивает.

— Это так трудно описать… Я услышал, как люди кричат: «Огонь! Огонь!», почувствовал, что вокруг начинается паника, и испугался. Никто ничего мне так и не успел объяснить. А потом вдруг стало тихо… И мне сделалось как-то не по себе… В животе началось какое-то жжение и стало подниматься все выше и выше… А потом вдруг словно вспышка…

Он спокоен. Безмятежен. Кроме корявого наречия, в нем ничего не осталось от шута, еще недавно потешавшего всю округу.

Люди научились звать его по имени… В последний раз, когда мы с ним говорили, шесть дней спустя после совершения чуда, он собирался податься на север, чтобы гульнуть на те двадцать миллионов лир, которые я пообещал ему с первой же выручки.

— Надоели мне эти очки, Антонио… Спасибо тебе, я смог выбросить их в канаву. Знаешь, попрошайничать — это уже не для моего возраста…

Тогда я не понял, почему в его словах прозвучала ностальгическая нотка. Словно он хотел сказать нечто совсем противоположное. Может, он внезапно почувствовал себя осиротевшим? И он тоже? Нельзя ведь так сразу выбросить сорок лет своего ремесла.

— Моя мать была настоящая святая… Отец уже ослеп к тому времени, когда она за него вышла. А кроме нее, никому не нужен был бедняга, годный лишь на то, чтобы протягивать руку.

Родился мальчуган. Зрячий. И это оказалось единственной удачей в жизни синьоры Ди Пальма. После войны время выдалось суровое для всех, ну так что же, слепому тоже, значит, надо было смешаться с толпой эмигрантов? Отец научил своего сынишку музыке, и вот они вдвоем начинают обходить округу — банджо и аккордеон, свадьбы и крестины — по всему Лацио.

— Как только приближался какой-нибудь праздник, мы с отцом проводили по дня два на ходу, чтобы добраться аж до какого-нибудь Арпино или Роккасекки, одного из этих захолустных местечек. Выходило неплохо: мы играли с душой, и нас везде любили.

Мать умирает от воспаления легких, когда Марчелло всего десять лет. Отец и сын становятся кочевниками, окончательно уйдя на сторону. Они работают на рынках и на церковных папертях.

— У нас имелся даже свой календарь, а воскресенье, особенно зимой, был наилучший день, тут и говорить нечего. Мы пели и молитвы, и арии из опер, и народные песенки. В тот единственный раз, когда мой старик заболел, мне пришлось работать одному. Тогда-то я впервые и надел его очки, только для пробы, в одной дыре, где нас никто не знал.

А когда старик сообразил, что я неплохо выпутался, ему и пришла в голову эта мыслишка.

Отец повсюду стал рассказывать историю о наследственной болезни, которой страдают все в их роду. Двое слепых зарабатывают больше, чем один. И Марчелло окончательно надевает очки.

«От отца к сыну передаются в нашем семействе плохие глаза!» — говорил старик, и люди вокруг тут же переставали смеяться. Я выучился ремеслу слепого — палка, движения рук, головы, — никто никогда ничего и не замечал.

Когда умирает отец, Марчелло уже двадцать четыре года, и у него нет никакого другого ремесла, кроме своей музыки. Его всюду знают и любят. Это его жизнь.

— А что мне оставалось делать? У меня ведь не было ничего получше где-нибудь в другом месте. Вот я и продолжил в одиночку. Порой я даже забывал, что я зрячий, и ничуть не стыдился. Просто, когда чувствовал на себе взгляды, полные жалости, я закрывал глаза… И это было почти то же самое, что ослепнуть.

Однажды он решил кочевать поменьше и ограничиться окрестностями Соры.

— Здесь мне было лучше всего, ведь я был родом отсюда. Но я знал также, что останься я в Соре, и с надеждой «прозреть» когда-нибудь мне придется распрощаться. Стоило бы только людям узнать, что я столько лет водил их за нос и пользовался их состраданием, они бы мне все кости переломали. Это ведь естественно, верно? К тому же здесь был этот амбар,

где никто не запрещал мне спать, и это вино, которое никто не запрещал мне пить, потому что больше никто его пить не хотел.

Так почему бы бедняге слепому всем этим не попользоваться?

И вот однажды этой землей завладел Дарио. Никто и не знал, чего он тут мудрит, что замышляет.

— Полезно бывает заглянуть в глаза человеку, который даже не подозревает, что на него смотрят. А когда я заглянул в глаза этому самому Дарио, я сразу почуял, что на уме у него что-то особенное. Подумать только… Француз. Мы и виделись-то с ним всего ничего, но я заранее могу сказать: больше мне такого продувного плута не встретить. Чудной он был тип — врун, хитрец, пройдоха… что там говорить, парень вроде меня самого.

Дарио его не только не прогнал, напротив, он даже привязался к слепому. Он приходил в виноградник поздними вечерами, и они вместе пили вино.

— Он меня все расспрашивал о городке, о винограднике, о Сант'Анджело. Это был первый человек, который проявил интерес к моей жизни. Он мне все подливал да подливал, пока не видел, что я уже совсем лыка не вяжу. Продувной был, одно слово. Но я держался. Только вот однажды был я совсем косой, ну и сделал что-то не то… я хочу сказать — что-то неестественное для слепого. В общем, выдал я себя, и уж этот чокнутый своего не упустил. Он мне даже сказал, что и раньше, мол, сомневался, что я взаправду слепой. Хитрюга, что и говорить…

Какая находка для него — этот лжеслепец. После такого открытия уже и речи быть не могло, чтобы пойти на попятный.

— И вот как-то вечером он мне и говорит: «Сколько ты зарабатываешь со своей протянутой рукой? Какие-нибудь жалкие гроши, верно? Вот что, я у тебя покупаю твое дело, и ты отказываешься от своих орудий труда и всего такого в мою пользу. Двадцать миллионов лир и пожизненная рента в зависимости от цен на вино. Самому-то тебе не надоело быть слепым?

Марчелло сопротивлялся недолго. В конце концов, что ему предстояло сделать? Валять дурака несколько дней да заговаривать людям зубы — подумаешь! Это же и так было его ремесло. Остается, правда, легкая тревога: а как он впишется снова в жизнь общества? Сумеет ли жить вместе с другими и как другие?

— Прямо смотреть людям в глаза? Мне? Это после стольких-то лет? Но в то же время идея была слишком уж соблазнительна: вновь обрести право быть зрячим да и жить-поживать себе припеваючи, с денежками до конца своих дней.

Они вместе разрабатывают план. Дарио выбирает Гонфаллоне, чтобы собрать как можно больше свидетелей. А потом уезжает в Париж… чтобы никогда уже больше не вернуться.

— В тот день, когда я узнал о его смерти, я сказал себе, что это перст Божий. Тогда-то я и сочинил свою песню. Ведь это он вернул мне желание смотреть на мир при свете дня, как он выражался. Да, это было бы слишком прекрасно. Теперь мне оставалось на выбор: либо убраться отсюда подобру-поздорову, либо остаться здесь, среди своих, и продолжить спокойное нищенское житье. Это я и выбрал. В другом месте мне бы долго не удалось протянуть, хоть бы и зрячему. К тому же однажды вечером сюда заявился ты…

Мы обнялись на прощанье, прежде чем он ушел.

— Забавную штуку ты сыграл со мной, Антонио… Кто бы мог подумать, что после всего этого я буду жить как все? На меня ведь теперь смотрят не как на слепого, а как на чудом прозревшего. Не знаю, что хуже. Я вышел из темноты на свет как-то слишком быстро, сам знаешь… Церковный врач, который хвостом за мной ходил эти два дня, даже тот на меня

смотрел как на чудо-юдо какое. Уж больно они все тут осторожничали, и он, и те два шпика ватиканских. Не любят они этого, сам знаешь…

Не хотелось мне опять заводить речь об этом, но куда денешься. Уже давно было подмечено, что спонтанному выздоровлению чаще других подвержены слепые и некоторые паралитики. Под воздействием внезапного шока больной может вновь обрести способность пользоваться своими членами. Медицинские организации, занимающиеся регистрацией тяжелых случаев, отмечают такие исцеления десятками, но при этом вовсе не кричат ни о каких чудесах.

— А здесь… Я ведь знаю, что здесь на меня всю мою жизнь будут так смотреть. Подумать только, я ведь не хотел уезжать в чужие края и вот… уже чувствую себя изгнанником… Люди хотят ко мне прикоснуться, поговорить со мной о том, что у них наболело, хотя я уже до смерти устал повторять, что нет у меня никакого дара, и вообще ничего нет, а они все равно приходят. Когда я прохожу по городку, никто уже больше не смеется. Одна старуха, которая раньше, бывало, давала мне кусок мяса, хотела на днях поцеловать мне руку… Мне стыдно. Еще больше стыдно, чем когда я смотрел на мир через свои очки…

— Не говори так, Марчелло…

— У меня теперь душа не лежит добавить еще один куплет к своей песне. Кому мне ее петь? Я обрел глаза, но потерял голос.

— Ты сожалеешь…

— Нет, ничуть даже, нет… Всего-то несколько дней прошло, а я уже приохотился спать в постели. Старею я. Вчера один парень из «La gazetta» задавал мне вопросы… Так он, кстати, спросил: каково это — вдруг увидеть радугу? Я, конечно, ответил, что чудесно, но я уже и сам не знаю, лгу я или нет.

— Что теперь собираешься делать?

— Ничего. Пережду где-нибудь немного, прежде чем вернуться сюда. Буду путешествовать. Смотреть. Видеть. Флоренция, Венеция. Не забудь прислать мне туда денежки. Красивое дорого стоит.

Он собрал себе в дорогу кой-какой багаж, не зная толком, как за это взяться. Уже одна только мысль о чемодане ставила перед ним проблему. Я спросил его в последний раз, не догадался ли он, почему убили Дарио.

— Я не знаю, кто это сделал. Ничем не могу тебе помочь. Но когда у человека такое в голове…

Он уехал последним рейсом, чтобы повстречать как можно меньше народу. И было лучше, чтобы нас не видели вместе. Я его не провожал.

*

Бьянка выключает телевизор и легонько трясет меня за плечо:

— Не засни снова. Тебя там ждут.

Она лукаво улыбается. Интересно, согласилась бы она делить со мной постель, если бы узнала, что я обманщик, мошенник и лицемер?

Собираясь на рынок, она выглядывает из окна. Ее белая нижняя юбка задирается значительно выше колен. Она смеется.

Но вдруг ее взгляд упирается в конец улицы. Я различаю урчание мотора, едва слышное, чьи-то голоса и вслед за ними — мелодичное хлопанье дверцы. Бьянка оборачивается ко мне на миг и возбужденно пытается что-то сказать с помощью рук:

— Это… Это же прямо «Даллас», Антонио! Ты только посмотри! Нет, не «Даллас» даже, а «Пороки Майами»!

Ай!..

Я не понял, что она этим хотела сказать, но мне становится как-то не по себе.

Я медленно приближаюсь к окну. Уличный шум все сильнее. Солнце уже припекает. Денек обещает быть жарким.

Внизу два белых «кадиллака» с дымчатыми стеклами. Как раз такие, какими их себе представляют. Даже еще более длинные и сверкающие. Местные «фиатики» разбегаются врассыпную, словно мыши, чтобы дать тем возможность припарковаться — чуть не во всю длину тротуара. Их тут же облепляют мальчишки. Желая взглянуть поближе, подходят старики.

Бьянка вся трепещет.

— Точь-в-точь такие же, как у калифорнийского любовника Сью Эллен!

Да, это чудо будет почище явления самого Сант'Анджело. Пытаюсь отвлечься от этих колесниц, чтобы получше рассмотреть пассажиров. Что нетрудно: трое белых, один черный. У этого последнего наибольший успех. Интересно, видели они раньше в своей дыре хоть одного негра? Волосы острижены под гребенку, серый костюм с искрой и белая сорочка. На остальных черные очки и пиджаки из блестящей ткани. Самый толстый из четверки достает из багажника чемоданчик и протягивает единственному бородачу в их компании. Пока невозможно догадаться, кто среди них босс. Ватага вертлявых мальчишек тут же прилипает к стеклам, чтобы разглядеть внутреннее убранство. Взрослые тычутся носом в номера, гладят капот руками, обсуждают во весь голос. Черный с бородачом раза два-три хлопают в ладоши с какой-то невероятной медлительностью. Третий разражается смехом. Толпа отступает метра на два. Бородач достает большущий белый носовой платок и протирает на ветровом стекле крошечный участочек. Гробовое молчание.

Один из них снимает свои очки и утирает пот рукавом. Потом медленно направляется к ближайшему кафе и о чем-то говорит с хозяином, затесавшимся в группу зевак. Слов разобрать невозможно. Перед парнем в очках раболепствуют, ему уступают место на стульях, но он, похоже, не собирается садиться. Проходит минуты две, прежде чем хозяин соображает наконец, чего от него хотят, и задирает нос кверху, обшаривая взглядом дом напротив. Потом вытягивает руку и тычет пальцем как раз в мое окно. Все четверо пришельцев одновременно поворачивают головы и дружно на меня смотрят.

*

Два резких удара в дверь. Нет времени ни прийти в себя, ни одеться. Ни приготовиться к защите. Хотя никто пока на меня не нападает. Рефлекс параноика. Как тут им не станешь, когда на тебя зараз вываливают целый вагон дерьма. Спаси меня и сохрани, Сант'Анджело, ты ведь мой должник. Похоже, что население Соры собирается возместить себе отсутствие кинотеатра в их захолустье. Представление, как в старые добрые времена: кресла в оркестре и выступления клоунов перед большим фильмом.

— Я открою? — спрашивает Бьянка.

— Да.

Входят четверо. Толстяк в очках Ray-ban спрашивает меня. Остальные тем временем прошмыгнули в кухню, я слышу оттуда их голоса. Бьянка не ошиблась, они и впрямь говорят так, будто в каком-то плохо дублированном американском сериале. Особенно когда зубоскалят между собой — без нажима, без грубости, но при этом вас холодный пот

прошибает. Черный снимает крышку с кастрюли и шумно нюхает. Тот, что в очках, не одобряет:

— Put that back, you jerk…[15]

Негр подчиняется, ворча. Видимо, очкастый у них за босса.

Он протягивает мне руку.

— Польсинелли?

— Да.

— Парини. Джузеппе Парини. Слыхали это имя?

Слова у него выходят какие-то зажеванные, корявые. У него тягучий выговор, как у американца, который изъясняется не на своем родном, а на языке Данте. Конечно, я тебя знаю. Еще бы. Это тебе принадлежал один гектар виноградника. У тебя сейчас сеть прачечных в Нью-Джерси. И ты кузен Руччо.

Лет ему этак за полсотни, но не слишком. Нос малость крупноват, щеки слегка рябоваты. Улыбка не слишком долго задерживается на его лице, но главное, главное — это искорки в глубине глаз, которые позволяют предположить, что говорильня для него занятие пустое. Но напрасно он так старается сойти за американца. Кое-что его все равно выдает, и это что-то — несмываемое клеймо итальяшки.

Бородач устраивается на диване, другой мордоворот садится верхом на стул, сунув себе спичку в зубы.

— Ragazza… — Он показывает на Бьянку большим пальцем. — Ей есть чем заняться?

Понятно. И бесполезно объяснять, что эта самая ragazza в общем-то у себя дома. Бьянка уже вышла. Мне стыдно. Но я вовсе не собираюсь сейчас корчить из себя преподавателя правил хорошего тона, я предпочитаю, чтобы они поскорее перешли к делу. Едва за ней закрывается дверь, как громилы расслабляются. Один включает телевизор, другой лезет в холодильник, третий бегло осматривает одну-две комнаты.

Полный бред.

Ну нет, никто не заставит меня поверить, что эти ребята занимаются доставкой на дом свежевыстиранного белья. И что они просто приехали погостить денек-другой на родине. Из-за ностальгии.

— До чего все-таки приятно вернуться домой, Польсинелли. Совсем забыл, какая тут красотища, вся эта зелень и прочее… Сплошная dolce vita, одним словом. Повезло им, этим местным. Славные ребята.

Негр поглядывает на экран телевизора через плечо своего приятеля и в восторге хлопает себя по ляжкам. «Коджак», повторение. Босс просит их угомониться.

— Я прослышал там у себя, что тут дела тоже идут неплохо… Good business?..

Улица длинна… И у него тоже. Итальянская диаспора сработала добросовестно. И десяти дней не прошло, как случилось чудо, а он уже прикатил.

Бородач угощается овощным супом прямо из кастрюли, черпая его разливательной ложкой. Остальные гогочут, словно мальчишки, слушая комичные голоса актеров.

Парини хватает чемоданчик и ставит на стол. Обычный атташе-кейс, из тех, что попадаются на глаза десятками каждый Божий день, со всякой всячиной внутри — сбережениями, договорами, обещаниями, пожизненными рентами. Жду, когда он его откроет, чтобы узнать наконец, что же такое он для меня приготовил.

— Ну что, обделаем дельце на пару, а?

Он открывает оба замка тычком большого пальца и делает паузу.

— Любезный был малый этот Тренгони, и язык был хорошо подвешен… В два счета зубы мне заговорил. Только вот что, Польсинелли, стыдно мне теперь, что я продал такую

священную землю… Я ведь почитаю святых. Но что подписано, то подписано, у меня всего одно слово, Польсинелли. Твоя она теперь, эта земля.

До меня доходит наконец — он просто хочет войти в долю со мной, сделку предложить. И он нарочно тянет время, не открывая чемоданчик. Я переминаюсь с ноги на ногу, не сводя глаз с его кожаной крышки.

— Хоть я и продал ее за сущие пустяки, верно? Ты согласен? А ведь это кощунство так поступать. Мне стыдно. Эх, если бы только Сант'Анджело узнал, что я спустил его виноградник за какие-то несколько тысяч долларов!

Он воздевает руки к небу. И открывает свой атташе-кейс. Я таращу глаза.

И ничегошеньки не вижу. Абсолютно ничего. Чемоданчик совершенно пуст.

Он хлопает в ладоши один-единственный раз. Остальные, решив, что дело подходит к концу, окружают меня.

— Ладно, Польсинелли, меня дела ждут в Нью-Йорке. А дело есть дело, так ведь? Видишь этот чемоданчик?

— Да…

— Так вот, вернешь мне его сегодня вечером набитым доверху. И не воздухом, сам понимаешь. Начиная с сегодняшнего дня я хочу двадцать пять процентов от всего, что дает Сант'Анджело. Я тут оставлю двух моих ребят. Можешь даже сам выбирать, кого хочешь. Я бы лично посоветовал Боба. Отличный массажист.

— Э, погодите секундочку, — говорю я, улыбаясь, — у меня сейчас наличных нет ни гроша, и потом…

Парини меня обрывает:

— Как хочешь. Есть ведь и другой способ набить этот чемоданчик. Там места хватит как раз для тела твоего размера, после того, разумеется, как оно пройдет через руки Боба… По опыту знаю, проверяли на прошлой неделе.

Я не нуждаюсь в переводчике, когда этот самый Боб уточняет: только без ботинок. И тут они все начинают меня дергать за уши, щипать за щеки и щелкать по затылку до тех пор, пока моя голова не распухает вдвое.

— Славный ты малый, Польсинелли. Вы будете хорошей парой, ты и твоя ragazza. Очень даже миленькая крошка.

— Что вы хотите сказать?

Все четверо хлопают меня по плечам.

— У тебя еще есть время сказать «да»… до вечера. Нас легко найти.

— Вы здесь в какой гостинице остановились?

— Ты что, всерьез считаешь, что я могу спать в этой дыре? В этой обгаженной заднице? Среди всего этого мужичья? Мы остановились во Фрозиноне в «Платановом отеле». Можешь не беспокоиться, мы сами тебя разыщем.

Пытаюсь рассмеяться через силу. Чтобы не сблевать. Они направляются к выходу. Пытаюсь их задержать:

— Скажите, а в Америке…. эта чистка… всухую… хорошо поставлена? То есть выгодное дело? Если да, то понятно тогда, почему у вас там все такие чистые… по телевизору.

Босс переводит мои слова, и те разражаются хохотом и хлопают в ладоши.

— И ваша семья имеет отношение к… бетону?

— Да.

— И вы всегда разъезжаете в белом «кадиллаке»?

— Да.

— И женаты на сицилийке?

— Да. Откуда ты все это знаешь?

— Так. Интуиция.

Я не раз раньше слышал, что нужно объединить эти четыре условия, чтобы войти в большую итало-американскую семью. В ту самую.

Я просто хотел проверить.

*

Шагая в сторону виноградника, я пытался все хорошенько обдумать, пытался внушить себе, что все это было шуткой. Что все еще как-нибудь уладится, надо только проявить чуточку доброй воли. Но убедить себя так и не смог. Моя рубашка насквозь промокла от пота, хотя жара тут была ни при чем. Нервный тик сводит лицо, и я не знаю, куда девать руки. Двадцать пять процентов белым «кадиллакам»? А сколько остальным? Церкви, городу, Дарио?

Вереница тракторов протарахтела у меня за спиной. Я отошел на обочину, чтобы освободить им дорогу, но тут с одного из них проревел хриплый гудок. Трое других ответили ему, словно эхо. Крестьяне, сидящие за рулем, засмеялись. Один из них направил свою машину прямо на меня, заехав правым колесом на обочину. И они принялись кружить один за другим, заключив меня в кольцо, оглушая адским треском моторов и ревом гудков.

Я зажал уши руками.

— Да что я вам всем такого сделал, черт побери! — заорал я по-французски.

И в тот момент, когда две машины чуть не зажали меня в тиски, я прошмыгнул между колесами и угодил на дно канавы, лицом прямо в пузырящуюся жижу.

Они продолжили свой путь. Последняя машина еще помаячила какое-то время на извивающейся тропе, тракторист что-то мне прокричал, но я не расслышал.

Они хотят заставить меня заплатить. Во всех смыслах этого слова. Что это? Что это за счет такой, по которому со мной хочет расквитаться весь этот городишко? Может, божественная кара?

Ну нет, я не Дарио.

Меня вы не получите.

*

Никто и не заметил, что я перемазан грязью. Всем на это наплевать, даже дотторе, который практически и носа не отрывает от своих цифр. Он попросил меня изучить предложение двух местных крестьян, которые владеют четырьмя гектарами хлебного поля, граничащего с моим виноградником. Они предлагают округлить его площадь, уступив свой участок либо по высокой цене, либо по весьма сходной, если я посулю им долю в урожае. Дотторе уже произвел расчеты и теперь морочит мне голову процентами, прибылью и кучей прочей чепухи, на которую мне в высшей степени начхать. Все они просто хотят увидеть, как я подохну, и никакие расчеты тут ни при чем.

Секретарь епископа и дон Николо следят за приготовлениями к завтрашней мессе. Телевизионщики уже здесь. Я ничего такого не просил. Я хочу вернуться домой.

— Господин Польсинелли, я представитель Красного Креста, и я…

Даже не дав закончить, сбываю его на руки дотторе.

— Господин Польсинелли. Я от нотариуса. Не могли бы вы заглянуть к нему в контору? Будьте так добры, дело крайне спешное.

Я механически отвечаю «да», а сам тем временем думаю о вещах гораздо более спешных.

— Господин Польсинелли, я художник. Я готов показать вам образцы этикеток для партии бутылок…

— Господин Польсинелли, я подрядчик, я предлагаю вам свои услуги, чтобы перестроить погреб, потому что…

Эти тоже не прочь заполучить мою шкуру. И если я хочу протянуть на этом свете еще хоть немного, мне скоро понадобится еще одно чудо. Двадцать пять процентов этим подонкам? Ну нет, лучше уж сдохнуть, лучше убраться отсюда в Париж или в какое угодно другое место, туда, где меня никто никогда не найдет. Кто знает, может, я стану основателем первой итальянской колонии на Галапагосах.

Но вы меня не получите.

*

С половины одиннадцатого дотторе посвящает меня в свои умозаключения. С цифрами в руках, сделав анализ всех предложений, он утверждает, что способен удвоить предполагавшийся доход.

— Подумайте, синьор Польсинелли.

О чем подумать? О новых неприятностях? О том, чтобы удвоить аппетиты шантажистов?

Я покинул его, пообещав изучить вопрос.

Они меня не получат.

Из осторожности мне захотелось сменить дорогу и пройти обходным путем, который мне показал Марчелло. Но, проходя мимо хлебного поля, пришлось спросить себя, действительно ли это была удачная идея, потому что начался дождь. Дождь камней. Когда один-два булыжника оцарапали мне череп, причем я так никого и не увидел, мне пришли на ум мальчишки, прячущиеся за деревьями. Но тут надо мной взвилось целое облако камней, и я припустил оттуда во все лопатки. Больше сотни камней просвистело вокруг меня, но я так и не смог разглядеть, кто их бросает — дети или взрослые, сидящие на деревьях или припавшие к земле. Один камень ударил меня в спину, я вскрикнул и в какую-то долю секунды успел заметить крестьянку с белым платком на голове, нагнувшуюся за новым снарядом.

Да что я им такого сделал!

Если я задержусь тут еще хоть на час, они меня достанут. Я рванул так, что чуть не разорвались легкие. Я топтал поля на своем пути и ворвался в город как угорелый, уже близкий к полному удушью. Прохожие на моем пути хлопали в ладоши, но я не замедлил шаг, пока не очутился перед Бьянкиным домом.

Она строчила на машинке, сидя перед телевизором.

— Что это за чемодан, Антонио?

Я не решился сказать ей, что для нее этот чемодан может стать столь же роковым, как и для меня самого.

— Я сию же минуту уезжаю, иначе я тут подохну, — сказал я, безуспешно пытаясь унять одышку.

Должно быть, на меня в этот миг противно было смотреть. Задыхающийся, покрытый грязью и струящимся потом. Вид совершенного психа. Она обняла меня.

— Тут весь город расспрашивает о тебе. Из какой ты семьи, не собираешься ли уехать и когда.

— Уехать? Когда отходит последний автобус на Рим? Быстро!

— В пять часов.

На моих уже без десяти.

Я высвобождаюсь из ее объятий слишком грубо, конечно, бросаюсь в свою комнату и заталкиваю в дорожную сумку кой-какие вещи и несколько пачек наличных. Бьянка, не сказав ни слова, вновь садится за свою работу, делая вид, что не замечает меня. И внезапно я понимаю, что навсегда перестал для нее существовать. Но страх преодолевает даже угрызения совести. Я поколебался еще секунду-другую, буркнул «до свидания» и выбежал прочь.

В автобусе сидело человек тридцать, большей частью паломники.

— Когда отправление? — спросил я у шофера, стоявшего возле дверцы.

Он показал три пальца. В глубине салона я нашел пустые места и рухнул там в изнеможении.

Джакомо с дотторе и сами со всем справятся. Без меня они даже лучше сумеют заставить эту землю плодоносить. А я вернусь, когда весь этот шум в городишке уляжется наконец, когда епископ уже отслужит свою обедню, когда ватиканские ищейки закончат свои расследования, а американцы вернутся к своей химчистке. Я прижимаюсь к стеклу, чтобы бросить на Сору последний взгляд.

И тут все как-то притихли.

Кроме водителя, который о чем-то нервно спорит с двумя служащими компании.

Даже не знаю, что и подумать. Паранойя, что ли, у меня начинается, но, кажется, они смотрят на меня. К ним присоединяются двое местных торговцев, узнаю хозяина кафе. И все они украдкой косятся в мою сторону. Нет, нет, конечно же, я ошибаюсь. Но я всенепременно рехнусь, если позволю так разыгрываться своей подозрительности. Вот и три минуты истекли. Шофер тянет время, их спор оживляется, они пытаются говорить тише. Я приоткрываю окно, но уловить все-таки ничего не удается. Шофер качает головой, его берут за руки, тянут, слегка встряхивают. Ничего не понимаю.

И вдруг на какое-то короткое мгновение улыбка снова возвращается на его лицо. Он поднимается в автобус и, не присаживаясь, небрежно бросает:

— У нас тут кой-какие неполадки с мотором. Автобус сейчас не пойдет. Компания приносит свои извинения. Попробуем найти вам другую машину сегодня же вечером. А пока всем придется выйти.

Пассажиры ворчат, встают, пытаются переубедить шофера, который лишь широко разводит руками.

Я остаюсь сидеть как громом пораженный, изнемогающий, недоумевающий. Я все еще никак не могу осознать, что сказал водитель.

Сволочи…

Все равно не получите.

Я выхожу и миную кучу заговорщиков. Хозяин забегаловки отводит взгляд.

Вы хотите меня задержать, связать, лишить возможности двигаться. Не знаю, к чему вы клоните. Но вам меня не заполучить.

Сворачиваю за угол, туда, где стоянка трех единственных такси в городе. Кто-то хватает меня сзади за руку. Я вздрагиваю, уже готовый влепить кулаком по роже любому, кто только попытается меня остановить.

— Э!.. Э!.. Да успокойтесь же, господин Польсинелли! Это я, вы меня узнаете?

Нотариус. Какого черта ему тут надо?

— Я вас уже давно повсюду разыскиваю, да все никак не могу поймать.

— Скажете тоже. Тут это всем, кому угодно, удается, кроме вас. Я очень спешу. Что вы хотели?

— Я как раз и собирался вам это сказать, но… но… это довольно щекотливый вопрос… Быть может, я и ошибаюсь, однако…

Он склоняется к самому моему уху и украдкой оглядывается.

— Я, конечно, связан профессиональной тайной, синьор… но полностью избежать утечек информации бывает невозможно… Сам я тут совершенно ни при чем, могу поклясться… Но весь город уже как-то узнал про эту оговорку…

— Какую оговорку?

— То есть как это «какую оговорку»? Да это же было первое, что я вам пытался растолковать, как только вы приехали! Суть этого пункта в том, что после вас земли полностью отходят общине.

— Не понимаю.

— Вы же знаете, каково было пожелание господина Тренгони. В том случае, если вы откажетесь от земель, их унаследует город, и то же самое в случае вашей… вашей, хм… кончины.

— Простите?

— Все это на бумаге, черным по белому… И вот теперь, когда Сант'Анджело явил нам свою милость и… снизошел, так сказать… а вы сделали миллионы на его винограднике…

Дикая головная боль начинает разрывать мне череп.

— В общем, остерегайтесь, господин Польсинелли…

Ноги меня едва держат. Я прислоняюсь к стенке.

— Подождите секундочку… погодите… Так вы утверждаете, что местные… лишь бы только поделить виноградник… будут готовы даже…

— Я ничего такого не утверждаю. Это все. И желаю удачи, синьор.

Он делает рукой короткий жест в знак прощания и удаляется.

Люди, завидев меня, переходят на противоположный тротуар.

Терраса кафе переполнена и совершенно безмолвна.

Тебя здесь слишком любят, чтобы позволить убраться отсюда, сказал вчера тот мальчишка… И все эти немые лица в окнах. Неподвижные.

Из-за угла появляется такси. Я чуть было не бросаюсь под колеса. Водитель резко тормозит.

— Ты что, очумел?! — вопит он.

Машина свободна, и я уже хочу просунуться на заднее сиденье, но он блокирует дверцу.

Издалека, из-за грузовика с арбузами, чья-то осторожная тень делает ему знак не брать меня.

— Не могу, у меня вызов…

Я больше не знаю, что делать. Я так долго не протяну. Это заговор. Я роюсь в сумке и вытаскиваю оттуда увесистую пачку банкнот. Ни малейшего понятия не имею, сколько там.

— Вот, получите все это, если вывезете меня из города.

Парень, уже собравшийся было укатить, теперь колеблется, видя такую кучу денег. Потом смотрит на группу мужчин, которая медленно к нам приближается, и бросает:

— Ладно уж, садитесь…

Едва я успеваю погрузиться, как он газует что есть мочи. Ему что-то яростно кричат вслед.

Таксист что-то кричит им в ответ, сделав соответствующий жест рукой.

Он едва не сбивает двух пешеходов, в его машину бросают всякой всячиной, но ему и горя мало, и мы мчимся прямо на Железный мост — Понто ди Ферро, — чтобы выбраться из Соры.

— Какие-то проблемы, синьор? — спрашивает водила, скаля зубы.

— У вас они теперь тоже появятся.

— У меня? Проблемы? Не знаю, что это такое. Я неаполитанец.

Его выговор это доказывает, ровно как и его повадки. Из всего свода правил уличного движения (изрядно подсокращенного к тому же) неаполитанцы твердо усвоили лишь одно, но зато золотое — ни в коем случае не останавливайся, чтобы у тебя не свинтили колеса. Такси взбирается на пригорок, и я уже могу различить вдалеке спускающиеся каскадом дома деревушки Изола Лири, через которую нам придется проехать, чтобы добраться до Фрозиноне, главного города этой провинции.

— А теперь, когда вы вырвались, куда поедем?

— Фрозиноне. На вокзал.

— За ту пачечку, что вы мне посулили, могу хоть до самого Рима подбросить, если пожелаете.

Неужто она такая большая, эта пачка? В спешке я даже сосчитать не успел, сколько там было. Такси замедляет ход.

— В чем дело?

— А вы гляньте вперед, синьор. Вы это называли проблемой?

Прямо на нас неспешно надвигаются два «кадиллака», борт к борту, им даже не хватает всей ширины дороги. Такси тормозит.

— Ээ… Эти ребята случайно не по вашу душу?

— Да.

— Porca troia!..

— Что вы хотите этим сказать?

Он останавливается, чуть не доезжая до белых чудовищ, и скрещивает руки на груди. Спокойный и ничуть не удивленный.

— Да разворачивайтесь же! Не оставайтесь здесь! Можно ведь свернуть на…

— Послушайте, синьор, оставьте денежки себе. Мне ваши проблемы ни к чему, я себе и сам найду. По сравнению с этими четырьмя ребятами вся Сора покажется пустяком. А я всего лишь неаполитанец..

Бородатый Джо показался первым. За ним, с пушкой наперевес, вылез Генри, негр. А уж вслед за третьим своим подручным выгрузился и сам Парини.

У таксиста под носом сейчас целых три пугача. Я смотрю на это как зритель. Ошарашенно. Почти рассеянно. И уже смирившись.

— Этот парень мой, — говорит Парини неаполитанцу.

— Non c'è problema… Non c'è problema! — отвечает тот.

Не дав и слова сказать, Генри с Джо хватают меня, как мешок с дерьмом, и бросают на заднее сиденье своей тачки. Парини отчаливает первым в направлении Соры. За ним — Генри. Джо держит мою голову под сиденьем, приставив дуло к виску.

Покуда я трусь лбом о кожу сиденья, они не перестают трепаться на своем маловразумительном нью-йоркском жаргоне. Пытаюсь при этом уловить хоть одно словечко,

содержащее намек на участь, которую они мне уготовили. Но один из них сообщает, что ему захотелось отведать болонской колбасы, другой все удивляется, что тут тоже есть пицца, правда, не такая хорошая, как в Нью-Йорке, а третий жалуется, что эти колымаги, которые они взяли напрокат в Риме, сущее дерьмо. Впрочем, я не уверен, что все хорошо разобрал.

*

— Так ты подумал, Польсинелли?

Речная тина опять всего в нескольких сантиметрах от моего лица. Я тотчас же ору: «Да!» Берег Лири совершенно пустынен. Генри и Джо, которые держали меня за волосы на поверхности реки, вытаскивают теперь на сушу.

— Двадцать пять процентов?

— Согласен.

— Ах ты согласен? Так куда ты их дел? — спрашивает Парини, не переставая жевать кусок холодной раскисшей пиццы.

— Что вы этим хотите сказать?

Он щелкает пальцами, и я опять обретаю право слегка освежиться, хотя, честно говоря, и надеялся, что сумею этого избежать. Мутная вода вливается в меня через нос и режет глаза. Я выдерживаю несколько секунд, потом начинаю дико мотать головой, чтобы он прекратил эту пытку. Я даже утонуть согласен, лишь бы избавиться от этой безжалостной руки, стиснувшей мне затылок.

— Пока я вижу только, что ты пытался удрать, не попрощавшись. Может, и это неправда? Так куда же ты их дел? — опять спрашивает он, в то время как я снова заполняю свои легкие воздухом.

— Я… у меня… нет с собой денег.

Парини бросает огрызок пиццы в воду и вытирает пальцы платком, который ему протягивают.

— Слушай, Польсинелли. Хоть я здесь и родился, но кончать тут свои дни не намерен. Зато, если у тебя есть такая охота, это можно устроить. Я не собираюсь вечно торчать среди всей этой деревенщины. От вчерашней ночевки у моих ребят такое ощущение осталось, будто они это время в хлеву провели. Так что basta. Усек?

— У меня нет… сейчас денег… подождите хоть до сбора урожая…

Он щелкает пальцами. Я ору изо всех сил. Они засовывают меня в воду вниз головой, до пояса. Мой рот наполняется водой, и тут горло не выдерживает, лопается.

Мое тело вдруг перестает сопротивляться.

Я умираю.

Меня вытаскивают на берег. Вновь оживляют оплеухой.

— Теперь это будет уже пятьдесят на пятьдесят, Польсинелли.

— Да.

— За тобой должок, Польсинелли. Хочу повидать тебя завтра утром. Принесешь мне половину от продажи тех тридцати тысяч литров. Понял?

Нет, я не все понял. Где-то вдалеке хлопнули дверцы. Мое лицо закрывает высокая, сырая и грязная трава. Из-за мокрой одежды я продрог до костей, но у меня нет сил стянуть ее с себя. Мимо на полной скорости промчалась какая-то машина. Меня не заметили. Мне вдруг захотелось выбраться на обочину и остановить попутку. Поехать к Бьянке. Хотя даже не знаю, примет ли она меня. Но внезапный прилив сознания запретил мне просить помощи

у первого встречного, который, может, ни о чем другом и не мечтает, кроме как проехаться по мне разок колесами… А там, глядишь, и другой разок, и третий — чтобы уж наверняка…

Ты мстишь, Сант'Анджело…

Это единственное объяснение. Неужели ты зол на меня до такой степени?

Требуй от меня, что хочешь. Но дай искупить вину. Будь милостив. Сделай что-нибудь. Подай знак.

Пробираясь ползком, я нашел сухой плоский камень. На него и преклонил голову.

*****

Ночь.

Хлопнула дверца. Мне показалось, что это вернулись они.

Два человека в черном с головы до пят склоняются надо мной, чтобы вытащить из канавы. Один за руки, другой за ноги. Запихивают меня на заднее сиденье «мерседеса». Только когда они укутали мне плечи одеялом, я узнал эмиссаров Ватикана.

И тут же, непосредственно рядом с собой, увидел наконец лицо того человека, который приезжал вчера с епископом, но так и не вышел из машины.

Лицо худое, маленькие овальные очки, коротко остриженные волосы, на полных губах спокойная улыбка. Он в черном костюме с маленьким крестиком на лацкане. Терпеливо ждет, пока я приду в себя, не двигаясь, не говоря ни слова. Я кутаюсь в одеяло, съеживаюсь, насколько это возможно.

— Вам выпали мучительные испытания.

— Вы говорите по-французски?

— Я говорю на четырех языках, но вашим, к сожалению, пользуюсь не так часто, как хотелось бы.

— У вас выходит неплохо.

Голос спокойный, он внушает умиротворение. Безмятежный взгляд, неподвижные, немигающие глаза. Никакого сравнения со всеми этими неврастениками, у которых одни только зубы и замечаешь и которые словно плюют в тебя словами. Он прикасается кончиками пальцев к моему запястью.

— Не простудитесь. Летом это особенно опасно.

— Вы подвезете меня?

— Конечно.

Он делает своим людям знак садиться и трогать. От них нас отделяет стекло. Кажется, мне нет нужды давать им свой адрес.

— Кто осмелится утверждать, что в совершенстве постиг замыслы Господни? Вы ведь владелец этого виноградника, господин Польсинелли?

— Да. А вы кто?

— Мое имя ничего особенного вам не скажет. Допустим, что я имею отношение к финансам. Должен же кто-то этим заниматься, не так ли? Тем не менее управлять имуществом Церкви весьма тяжкое бремя.

— …?

— Не буду вдаваться в подробности, но, простоты ради, скажем, что я в некотором роде банкир. Например, банкир Ватикана.

Словно лампочка вспыхнула у меня в голове. Подземелья Ватикана, сокровища Ватикана и все россказни об этом. Меня охватывает дрожь, и я уже не уверен, только ли холод тут

виною. Мне едва удается обуздать приступ любопытства, понуждавший меня задать тысячу нескромных вопросов, один бестактнее другого.

— Как вы знаете, завтра должна состояться эта месса. И вы ведь наверняка рассчитываете, что церемония послужит… э… «легализации» — во французском есть такое слово? — культа Сант'Анджело нашей Церковью. Вы отдаете себе отчет, что все это означает?

Что чудо будет официально подтверждено. Что виноградник становится подлинным святым местом. Что он будет признан и почитаем наивысшим церковным авторитетом.

Нет, это зашло слишком далеко. Так далеко я заходить не собирался. Да и Дарио тоже. Теперь я лучше начинаю понимать рвение церковных сыщиков.

— Тысячи паломников явятся сюда, чтобы припасть к стопам святого. Придется возвести новую часовню, организовать регулярные богослужения et caetera, et caetera… Завтра будет великий день. А что вы сами об этом думаете?

Вот уж беда так беда. Ничего подобного я и вообразить себе не мог. Ничегошеньки. Ни внезапного коммерческого бума, ни высадки американцев, ни зависти целого города, ни перста Божьего, который тычет меня носом прямо в Святая Святых… Господи, я-то ведь хотел всего лишь устроить маленький фейерверк с дармовым угощением, и баста, и я вернулся бы домой с кругленькой суммой. Доход, так сказать, с теплого местечка. Вот и все.

Он скрестил руки, все так же странно улыбаясь.

Правда, по некотором размышлении я начинаю сомневаться, а точно ли это улыбка.

— Но представьте себе на мгновение, что произойдет, если вместо ожидаемого благословения верующим вдруг объявят, что все это дьявольское предприятие было затеяно с единственной целью — выманить их гроши, предназначавшиеся Церкви. Что некие богохульники надругались над памятью святого ради обогащения кучки храмоторговцев…

— Что вы хотите сказать?

— Что часовня сожжена с помощью бензина, что статуя была предварительно покрыта огнеупорным составом, что само здание было тщательно подготовлено, чтобы развалиться на две половинки, что Марчелло ди Пальма великий актер. Вы по-прежнему отрицаете? Отрицать?

Чего ради. Я с самого начала почувствовал, что эти ребята не из тех, кто будет кричать «Осанна» над кучей холодных углей. Это Дарио хотел перехитрить посланцев Святого Престола. Вот и все. А я, как последний дурак, всего лишь последовал за ним. И как только такое в голову могло прийти — будто я достаточно хитер, чтобы тягаться с ними.

Ну, Антонио? На кого ты теперь похож? Ведь должно же это было когда-нибудь кончиться. Рядом с этими молодцами и сам Парини, и трое его молодцов всего лишь шуты гороховые.

— Что вы теперь собираетесь делать? — спрашиваю я.

— Громогласно заявить о святотатстве и передать вас властям. И уж Матерь наша Святая Церковь позаботится, чтобы вы не вышли из темницы раньше, чем через тридцать лет. Поверьте, ей на это хватит могущества. Только вообразите себе негодование жителей Соры и окрестностей. Причем заметьте, я пока говорю лишь о мирском правосудии, то есть о наименее ужасном, что вас ожидает. Ведь вы совершили смертный грех.

Наименее ужасное? Быть может. Но если уж выбирать, то я предпочитаю скорее приблизить свой загробный суд, чем окончить свои дни в тюряге.

— Если только…

Я вздрагиваю и выпрямляюсь на сиденье, чтобы на лету ухватить, куда он клонит. Все турбины в моем мозгу начинают лихорадочно крутиться.

Машина тем временем въезжает в городок.

— Если только мы с вами не найдем некий… modus vivendi. То есть счастливое решение, удовлетворяющее всех нас. Главное, это избавить нашу паству от столь жестокого разочарования. Ибо, как я вам это уже говорил, кто осмелится утверждать, что постиг все замыслы Господни? Быть может, вы были избраны Провидением как раз для того, чтобы почтить нашего доброго Сант'Анджело, увы, слишком рано забытого, осмелюсь вам в этом признаться.

Молчание. Я кусаю себе губы, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость.

— А всеми этими деньгами, которые может принести продажа вина, мы сумеем распорядиться. Наши планы весьма обширны. Построить больницу, школу, оборудовать само святое место надлежащим образом. Мы еще всего не решили. Нам потребуется так много средств для предстоящих богоугодных дел. А это вино могло бы стать настоящим благословением для многих несчастных. Должен признать, мы были изрядно удивлены количеством ходатайств от приходов, которые хотели бы использовать вино Сант'Анджело для богослужений. Тут-то нам и явилась счастливая мысль — сделать его обязательным для этого по всей Италии…

— Вы шутите?

— Разве у меня такой вид, господин Польсинелли? Впрочем, все это вас не касается. Мое предложение просто: вы отдаете нам все — акты на владение, запасы вина и всю вашу смехотворную бухгалтерию. Всем этим мы распорядимся гораздо лучше, чем ваши ничтожные управители. Попросту говоря, вы преподнесете нам дар…

— Дар?

— Назовем это так. Для посторонних, по крайней мере. Взамен мы будем переводить вам ежегодно пятьсот тысяч ваших франков на анонимный счет, который вы откроете в любом банке по вашему выбору.

Машина останавливается перед Бьянкиным домом. Последние посетители бара напротив буквально загипнотизированы моим прибытием в черном «мерседесе». Выходит шофер, чтобы распахнуть передо мной дверцу. Хозяин бара решает, что у него галлюцинации.

— Я слышал, что у вас были некоторые недоразумения с местными жителями. И кажется, не только с ними…

— Вы неплохо осведомлены.

— Неисповедимы пути Господни, не так ли? Подумайте над нашим предложением. Хотя… остается ли у вас еще время на отказ?

Нет. Конечно, нет. И он знает это так же хорошо, как и я сам.

— И учтите, что, приняв это предложение, вы всецело подпадаете под наше покровительство. Не думаю, чтобы хоть кто-то дерзнул подвергнуть его сомнению.

Прежде чем уехать, он добавил:

— А пока не заботьтесь ни о чем. Я заеду за вами часов около одиннадцати. И мы вместе отправимся на церемонию, не так ли?

Он опустил свое стекло, и машина беззвучно исчезла.

Вокруг меня недобрые лица. Удивленные и молчаливые.

Меня сейчас вполне могли бы линчевать. С полной безнаказанностью.

Но никто не осмелился даже подойти ко мне ближе чем на десять метров.

Я почувствовал, что окружен неким магнетическим полем.

Бьянка все это видела. Потом на какой-то миг она пропала из окна.

И я услышал, как открылась дверь ее дома.

*

— А я тебе говорю, мы забыли задвижку.

— Все закрыто, и задвижка, и замок, на два оборота. Я уже проверила, Антонио. Лучше попытайся уснуть, а то скоро рассветет.

— Как тут уснешь… У тебя есть транксен? Который вообще час?.. Или валиум. Да, это тоже было бы неплохо… А может, у тебя теместа найдется? Одна-две таблетки. Пожалуйста…

— У меня ничего такого нет. Могу сделать тебе отвар…

— Отвар! Ты что, смеешься? Эти твои ставни… они же совсем гнилые. От них никакого проку. А выпить у тебя что-нибудь есть? Граппа там или… уж не знаю что.

— Вино, может быть?

— Вино… Я уже слышать не могу об этом б… вине. Я хочу… хочу… как будет «блевать» по-итальянски? Ну, блевать, вы что тут, в Италии, не блюете никогда? Слушай, я уверен, на задвижку не закрыто. Иногда бываешь так уверен, что сделал что-то, так уверен, что забываешь… А который час?

*

— Проснись, Антонио. Пора на мессу.

Виноградник… Надо добраться до виноградника…

— Бьянка… который час?..

— Почти одиннадцать. Ты заснул всего пару часов назад.

Да… припоминаю. Солнце стоит уже высоко. Мои веки никак не открываются. Надо добраться до виноградника… Банкир прав. Без его покровительства я погибну. Он все возьмет в свои руки, а я… я смогу вернуться в Париж…

— Машина внизу уже ждет?

— Да. Большая.

Я заметил в ее голосе некоторое беспокойство, и вдруг мои глаза открылись сами собой.

— «Мерседес»?

— Нет. «Кадиллак».

— О…

— А вон еще один. Ищет, где бы встать.

Я бросаюсь на Бьянку и трясу ее изо всех сил. Она вскрикивает.

— Хочешь, чтобы я загнулся тут, что ли?

— Антонио, ты… сходишь с ума!

Она вдруг разражается рыданиями и влепляет мне пощечину. Я выглядываю наружу через занавески. Они уже тут как тут. Поджидают меня. «Мерседес» не приехал.

— Помоги мне, Бьянка.

Она вытирает слезы уголком фартука. С трудом успокаивает свое дыхание и задумывается на мгновение.

— Тебе и вправду надо выйти отсюда?

— Да…

— Во дворе… там есть мопед… моего отца. Он еще в порядке. Я его часто одалживаю, когда просят.

— И что дальше?

— Я выйду первая, чтобы их на секунду отвлечь, а ты в это время уедешь. Но потом я смогу только молиться за тебя, Антонио…

*

Пять минут спустя мы уже во дворе, рядом с воротами. Драндулет заводится с полоборота.

— Что ты собираешься им сказать? Только учти, эти не из телика, а настоящие.

Я сажусь на мопед верхом, жду еще немного, потом резко вылетаю на улицу и несусь по ней не оборачиваясь. Какая-то машина едва успевает от меня увернуться.

Драндулет промахивает Via Nazionale в три рывка акселератора. Я лечу не оборачиваясь назад, прохожие вопят, солнце слепит глаза.

Только не оборачиваться.

Дорога сужается, я уже на окраине городка.

Съезжаю с асфальта и поворачиваю на мощенный булыжником проселок.

Впереди, метрах в ста, какие-то животные, пастух поднимает руки вверх, чтобы предупредить меня. Я притормаживаю на миг и оборачиваюсь. «Кадиллаки» следуют за мной по пятам. Я пытаюсь обогнуть стадо, сворачиваю слишком быстро…

…и с воплем налетаю на дерево.

Я оглушен, но мне удается встать на ноги, хоть и согнувшись пополам. Боль в лодыжке заставляет взвыть. Пастух несется на меня, крича и размахивая палкой.

Я устремляюсь в лес. Сзади раздаются два выстрела. Бегу куда глаза глядят, продираясь сквозь кусты, ветки хлещут по лицу. Из-за боли в ноге у меня вырываются хриплые стоны, которые я пытаюсь приглушить, чтобы те, сзади, не услыхали.

Эти сволочи вот-вот меня достанут…

Лес огромен. Если я смогу здесь заблудиться, может, те тоже меня потеряют… Понятия не имею, как отсюда пробраться к винограднику… Надо бы хоть на мгновение остановиться, осмотреться в этих джунглях… Нет, невозможно. Некогда.

Эти сволочи меня не получат.

*

Я долго бежал. Лодыжка пылала огнем, но боли я не чувствовал. Наконец я рухнул на землю в изнеможении.

И вновь стало тихо.

Я ждал. Пыхтя, как бык на бойне.

Потом я медленно поднял голову и тут, сквозь листву, вдалеке увидел это окно.

И мне пришли на память слова:

«…Видишь свет, там, за деревьями? Это мой дом. И вот что я хочу тебе сказать… Если тебе надо будет укрыться… ты можешь прийти когда угодно».

Это дом Манджини. И еще даже не понимая почему, у меня вырвался вздох облегчения.

*

Слезы выступили у меня на глазах, когда он открыл мне дверь. Какое-то время мы стояли лицом друг к другу, не зная, что сказать.

— Синьор Польсинелли?

Он впустил меня в большую комнату, почти пустую, с огромным, метра три длиной, столом посредине. Я сажусь, пьяный от усталости, и начинаю растирать себе лодыжку. Манджини принимает непринужденный, почти развязный вид, словно не замечает, что я умираю от страха.

— Вот уже десятый раз со времени приезда я приглашаю его к себе, а он, надо же, является как раз сегодня… когда все так и суетятся вокруг его земель.

— Слишком даже суетятся. Все они хотят… — Я вовремя заткнулся, чуть не сделав признание. — Скажите, синьор Манджини, могу я передохнуть у вас минутку?.. Меня ищут… одни… в общем, слишком долго объяснять.

Он направляется к шкафу, достает свой карабин, заряжает и кладет перед собой на стол.

— Никто не сможет вас здесь найти. Разве что синьор сам сказал кому-нибудь, что заглянет к этому старому разбойнику Манджини?

— Нет, никто не знает.

С его ружьем, в его стенах и вместе с ним самим я сразу же почувствовал себя в безопасности.

— Слушайте… вы ведь не такой уж и старый, синьор Манджини?

— А сколько синьор даст мне?

— Шестьдесят.

— Спасибо. В следующем месяце мне исполнится семьдесят три.

И опять переходит на это вежливое обращение в третьем лице:

— А что синьор скажет о моем доме?

Он великолепен. Настоящая трехэтажная вилла посреди леса. Прекрасное убежище для отшельника, который выглядит моложе своих лет.

— Я построил его собственными руками в пятьдесят третьем. Совершенно один. Никто из округи не пришел помочь мне.

Он сказал это с гордостью, но в его тоне прозвучала давняя обида и еще какое-то гаденькое торжество, которых я от него совсем не ожидал.

— А все потому, что меня тут каждый ненавидит. Разве синьору ничего об этом не сказали?

Не понимаю, зачем он говорит мне это. Но, судя по тому, что жители Соры заставили вытерпеть меня самого, я вполне готов ему поверить.

— Но… мне показалось, что, наоборот… вас тут все так уважают, синьор Манджини…

— Молчание — это еще не уважение!

Я не прошу разъяснений. Единственное, чего я сейчас хочу, это задержаться как можно дольше в этом доме, который так хорошо пахнет сухим камнем и вощеным деревом.

Мы беседуем, но я неожиданно уловил какой-то другой запах. Я чувствую, как он настойчиво распространяется вокруг, и начинаю шарить глазами по комнате в поисках его источника. Манджини не обращает на этот запах ровно никакого внимания, словно его нос уже давным-давно к нему привык. Зато мой то и дело вздрагивает и трепещет, пока тоже не привыкает к нему. Мало-помалу я даже перестаю его замечать. Хотя странный он все-таки, этот запах. Какая-то бесцветная помесь: что-то растительное, горячее и пресное одновременно. Не напоминает ничего такого, с чем я знаком. Но при этом кажется, что его составляющие, взятые порознь, всегда были мне известны.

— Ну вот, теперь пора и передохнуть немного. Синьор может снять свой жилет. Он, должно быть, проголодался из-за всей этой кутерьмы. Верно, синьор Польсинелли? Я сейчас как раз собираюсь сесть за стол. Синьор чувствует, как вкусно пахнет?

Выходит, это… еда так пахнет? Вот эта помойная вонь — запах его жратвы? Я мог вообразить все, что угодно, но только не это.

Испарения перепрелых отрубей, затхлый душок от давно не проветривавшегося гербария, кислый дым остывающих углей… это еще куда ни шло. Но… еда? То есть нечто такое, что варится с целью быть съеденным? Нет уж, увольте, это в корне разнится с тем, что творится на кухне у Бьянки, где любой мало-мальски различимый аромат тут же наводит на мысли о римских оргиях. И все же то, что варганит Манджини, не внушает мне полного отвращения.

Стол накрывается в мгновение ока. Но когда он вынул третью тарелку, я медленно встал.

— Вы ждете кого-нибудь?

— Да. Одного родственника. Пусть синьор снова сядет.

— Послушайте, я не слишком голоден. К тому же я гость незваный и вовсе не хочу вас беспокоить.

Манджини достает бутылку и наполняет вином два стакана.

— Это мой племянник, сын сестры. Время от времени он заходит меня навестить. Мы с ним сблизились после смерти его матери. И если бы не он, то, думаю, мне за весь год вообще было бы не с кем словом перекинуться. Но если не захотите оставаться, мой племянник проводит вас до Соры, как только явится. Идет?

— Нет. В Сору не надо. Мне надо к моему винограднику.

— Это из-за обедни? Как синьор пожелает! Ну что, вы остаетесь?

Да. Конечно, да. Я не могу поступить иначе. Да и не хочу. Я бросаю взгляд на карабин. Он это замечает.

— Ничего не бойтесь. Здесь вас никто не найдет. Посидите сейчас в гостиной, пока племянник не придет, а я поставлю воду на огонь.

Лодыжка все еще болит, но это не перелом и даже не вывих. Только чтобы отвлечься, я выхожу из столовой, ковыляю мимо кухни, откуда и доносится этот неописуемый запах, и попадаю в просторную комнату, где возвышается старое облупленное кресло-качалка, а перед ним деревянный сундук, который служит, очевидно, подставкой для ног. Как раз то, что мне надо. Кроме этих двух предметов, в комнате совершенно ничего нет. Ледяная пустота. Ни телевизора, ни семейных фотографий в рамках, ни иллюстрированных журналов. Только это кресло да сундук. Одним словом, странная обстановка.

Как проводят время в этой комнате? Чего ищут здесь? Отдыха? Забвения?

Или же чего-то противоположного? Здесь приводят в порядок свои глубокие мысли, плоды размышлений, воспоминания. Чтобы отыскать тут такое, его уже надо иметь в голове.

— Синьор нашел, чем занять себя? — кричит Манджини из глубины кухни.

Что нашел? Что тут найдешь? Скорее уж, войдя сюда, потеряешь и то, что имел. Должно быть, эта комната служит для того, чтобы образы возникали сами по себе. Достаточно подождать. Они тихонько всплывут. И нахлынут.

Сундук как раз у моих ног. Словно искушает.

Я бросаю взгляд в сторону кухни и берусь рукой за крючок. Потом беззвучно приподнимаю крышку.

Приходится полностью откинуть ее, чтобы различить очертания всего двух предметов, которые хранятся в сундуке. Сначала я заморгал глазами, потом зажмурил их.

Чтобы суметь поверить увиденному…

В глубине этого деревянного провала я различил лишь толстенькую стопку аккуратно сложенной черной ткани с безупречно гладким воротничком. И рядом пистолет, похожий на «люгер». Больше всего я бы должен был струхнуть при виде пистолета. Но шок у меня вызвала скорее рубашка. Черная рубашка с вышитой на воротничке красной буквой «М».

Висками чувствую, как колотится сердце.

…Они и раньше-то всегда были чистенькие да опрятные, эти сволочи, а ближе к концу войны и вовсе задрали нос. Одно слово — фашисты. Не знаю почему, но мы с компаре побаивались концентрационных лагерей. По-настоящему причин для этого у нас не было, но кому охота отправляться на верную смерть? Поэтому мы и старались их избегать, что было, то было. Но, в общем, мы с ними порой все-таки сталкивались, и они всегда потешались над нами, обзывая нас трусами. Я в ответ не осмеливался и голоса подать, это доказывает, что обзывали они нас не без повода. Но меня так и подмывало сказать им, что единственная моя заслуга во всей этой истории, которая нас сюда завела, состоит в том, что я ни разу не повстречал парня, который захотел бы спустить с меня шкуру, ни такого, с кого шкуру спустить захотел бы я сам. Что я передовой ни разу в глаза не видел за всю мою жизнь, что за время этой греческой кампании я только и делал, что ждал, пока все не закончится само собой. Да только вот уже четыре года прошло, а оно все не кончалось…

— Почти готово, синьор Польсинелли!

Бывший фашист…

Служил в гвардии Муссолини, был одним из тех бесноватых, с которыми мой отец постоянно сталкивался на своем пути вплоть до самого конца войны. А я-то и не знал, что они еще существуют, настоящие, такие, какими их видишь в фильмах, — черные и опрятные, на «ты» со смертью, ослепленные своим дуче, лощеным и безукоризненным. Буква «М» — Муссолини — на воротнике означала офицерское звание. А хозяин-то мой не простая пешка!

— Надеюсь, синьор проголодался?

Проголодался?.. Самый заправский фашист упрашивает меня отобедать, защищает меня, прячет в своем доме… Да еще беспокоится, не проголодался ли я. Я закрыл сундук.

Широким жестом он приглашает меня к столу. Его осанка, посадка головы, его жесткость, природная суровость, его отшельничество — все эти детали, смешавшись, становятся на свои места, и я не могу теперь помешать себе увязать их (пусть даже ошибочно) с найденной черной рубашкой.

— Почти готово, присаживайтесь. Моему дураку племяннику осталась всего минута, чтобы явиться вовремя, пока макароны не остыли. Вы сейчас отведаете мое коронное блюдо! Ammazza!

Я уже не знаю, что мне делать: уйти, плюнуть ему в морду, выкрикнуть все то, что мог бы выкрикнуть ему мой отец? Раз он не сжег свою рубашку и не выбросил свой пугач, значит, страдает ностальгией. У каждого ведь была своя война. И у каждого свои сувениры, свои трофеи.

А я-то думал, что нашел друга.

Но при всем том отвращении, которое он у меня теперь вызывает, надо рехнуться окончательно, чтобы оскорбить его и уйти туда, где рыщут эти молодчики, которые только и ждут, чтобы нашпиговать меня свинцом. Я загнан в угол. И из двух зол вынужден выбирать меньшее.

— Я только чуть-чуть их отварил, именно так их и надо есть. А вы знаете, почему здесь, в Италии, готовят макароны al dente? Потому что это еда бедняков. В трудные времена их

едят почти сырыми, чтобы они продолжали набухать в желудке, так чувство сытости дольше держится.

— Вы чувствуете это зловоние… этот мерзкий запах?

— Какой запах?

— Из кухни.

— Неужто мой соус?

— Он у вас что, на касторовом масле?

Манджини удивленно смотрит на меня, скрестив руки. Потом на его губах вновь появляется кривая улыбка.

— На касторовом масле не готовят.

— Ах да, совсем забыл, касторкой, наоборот, прочищают желудок.

Молчание. Я по-прежнему воздерживаюсь садиться. А он возвращается на кухню, пропустив мимо ушей мой намек на слабительное. Я уже начинаю жалеть, что у меня это вырвалось. Можно подумать, я стараюсь изо всех сил, чтобы он меня отсюда выгнал. До меня доносится шипение на сковородке и перекрывающий его голос:

— Он еще так молод, этот синьор Польсинелли… Но я восхищаюсь им. Он говорит прямо как здешний мальчишка. Да он и похож на здешнего мальчишку, и он такой же сметливый. Можно подумать, будто все здешние мальчишки появляются на свет теперь в Витри-сюр-Сен.

На какой-то миг я застываю столбом, не зная, что и ответить.

— Прошу к столу!

Все сходится. Он сам, его возраст, его прошлое и все-все остальное, чего я и знать-то не хочу. Он возвращается из кухни, неся торжественно, словно священный сосуд, большую салатницу, откуда и исходит этот причудливый запах. Он ставит ее под самым моим носом, и меня немедленно охватывает позыв к рвоте. Я закрываю рот рукой.

— Они превосходны. Превосходны! Если синьору это не нравится, я могу быстренько сготовить что-нибудь другое, но он ошибается!

Его воодушевление кажется мне все более и более искренним. Он улыбается и похлопывает меня по плечу. Чувствую, что он во что бы то ни стало намерен заставить меня разделить с ним трапезу.

Я подавляю на миг свое отвращение и заглядываю в тарелку, которую он наполнил мне доверху. Белесая липкая масса без соуса, без единой капли масла, лишь какие-то растрепанные зеленые волокна да переваренные листики. И еще некая желтая кашица, которая тоже ни на что не вдохновляет. В общем, никакой эстетики. Вкуса наверняка тоже никакого. И только эта пресная вонь стала еще сильней и отчетливей.

Он доволен. Он садится за стол и улыбается мне с самым любезным видом. Воцаряется тишина. Я медленно отнимаю руку ото рта. Закрываю глаза. И тут до меня все доходит.

Я едва успеваю подавить новый позыв. Меня прошибает пот, я едва справляюсь со своим желудком.

— Что с ним такое, с нашим Антонио? Ему не нравятся ригатони?

Я снова смотрю на свою тарелку и обнаруживаю там все, что надо: и кукурузу, и одуванчики, и терпкий запах мяты.

Этот навязчивый запах ударяет мне в голову.

И как только ты смог проглотить такое, Дарио?

Я наклоняюсь в сторону, сотрясаемый приступом рвоты, гораздо более мощным, чем все предыдущие, и выблевываю струю желчи, жгущей мои внутренности.

Манджини встает и сокрушенно разводит руками, давая понять, насколько он огорчен…

Значит, до тебя дошло, наконец, Антуан?.. А ты-то думал, что этот дом для тебя надежное укрытие. Но при этом почему-то рвался наружу изо всех сил, а? Что ж, может, у тебя и есть еще шанс выбраться отсюда. Потому что Манджини пока не подозревает, что ты уже обо всем догадался… догадался, что именно он, и никто другой, убил Дарио.

— Были времена, когда это блюдо пользовалось гораздо большим успехом… Вы меня обижаете, Антонио Польсинелли.

— Простите… это пройдет.

— Сожалею, но этот рецепт мне весьма дорог. Я сумел бы приготовить любой итальянский соус, даже самый редкий, но я не люблю стряпню, которую можно найти в первом же попавшемся ресторане. Когда готовишь что-нибудь, надо творить!

— Простите меня, синьор Манджини, я неважно себя чувствую… Душно как-то… Мне, пожалуй, лучше выйти наружу, глотнуть свежего воздуха…

Я делаю попытку приподняться, но он тут же кладет руку на свое ружье. Я понял, что он понял, и прижался спиной к двери, не спуская глаз со старого психа и нащупывая ручку… как вдруг дверь открылась сама собой…

Когда кто-то вцепился мне сзади в волосы, я заорал.

Заорал снова, когда мне врезали по ребрам и расплющили морду о буфет. Я закашлялся, сжимая бока, попытался было встать, но удар ноги в лицо швырнул меня прямо на пол.

Не знаю, сколько длился этот момент, но я сделал все возможное, чтобы растянуть его как можно дольше и не получать новых ударов.

Манджини склоняется надо мной. Я скрючиваюсь еще сильнее.

— Синьор может встать. Я представлю ему моего племянника. Впрочем, они с ним уже знакомы.

Портелья тоже наклоняется, потирая кулак, словно собирается продолжить избиение. Первый раз он напал на меня, когда я был в стельку пьян, а теперь — нападение со спины. Из чего следует, что не стоит слишком уж бояться такого мелкого подонка.

— Sole il nipote capisce lo zio, — говорит мне Манджини.

«Только племянник может понять дядю». Звучит как пословица. Надо бы на этом поглубже сосредоточиться, попробовать ухватить смысл, но пока я его тут что-то не могу уловить. «Дядя и племянник» звучит словно название какого-нибудь фарса, комедии по-итальянски. Один недо-отец, другой лже-сын. Кровная связь без разделения ролей. Соучастие, помимо долга. Игра прежде всякой выгоды. Да уж, это надо было видеть, как они обхаживали меня, перехватывая на лету, словно двое проходимцев из басни, где роль бедной жертвы отведена мне. Именно басня. Правда, пока без очевидной морали.

— Пусть все-таки синьор окажет честь моей стряпне. Пусть попробует пересилить себя!

И, как бы подтверждая свое приглашение, он сует мне под нос пистолет, который достал из сундука и теперь демонстративно заряжает. Можно подумать, одного ружья ему показалось маловато. Портелья подхватывает меня, приподнимает и толкает к столу. Они думают, наверное, что с дулом у виска я стану есть охотнее. Этот корм для мертвецов. Жрать эту гадость — значит уже приготовиться к отправке на тот свет. Племянник усаживается справа, дядюшка слева, и сует мне вилку в руку, как маленькому, и склоняется к уху, словно заботливая мамаша, уговаривающая своего карапуза съесть еще ложечку.

— Что с ним такое? А? Уж не Аттилио ли отбил ему аппетит? Или это из-за рубашки, которую он нашел в моем сундучке? Неужто он таких никогда раньше не видел? Неужто он думает, что мог бы наткнуться на нее, если бы я сам не захотел ее показать ему? Может, он боится черноты?

Я довольно долго пытаюсь найти, что бы такое ответить, но на язык подворачивается лишь одно-единственное оскорбление. Да и то на французском. Ни в чем, видимо, языковой инстинкт так себя не проявляет, как в ругательствах.

— Дерьмо фашистское!

— Ишь ты, можно подумать, я по-французски знаю — все понял. Хотя я ведь уже привык, здешние-то меня тоже не жалуют. Но и они ошибаются. Настоящим фашистом я не был. Недолго, во всяком случае. А рубашечку если и сохранил, так только на память. Это вроде как саван одного призрака, который я держу в сундуке.

— Дерьмо фашистское.

Портелья как следует прикладывается к моему затылку. Но в тот же самый момент я вцепляюсь ему в горло с намерением воткнуть вилку в глаз. Он так завопил, что я решил даже, будто мне это удалось, хотя на самом деле всего лишь распорол ему щеку.

Конечно, он снова сбил меня на пол и принялся лупить ногами, да так, что чуть не рассек мне надбровную дугу носком своего башмака. Видимо, хотел ослепить меня и чуть было в том не преуспел, прежде чем дядюшка оттащил его в сторону.

— Дарио так не привередничал, — сказал он мне.

Племянник снова садится, закрыв ладонью пол-лица. Рана лишь подстегнула его ярость. Я поднимаюсь, прикрывая рукой глаз.

— Даже наоборот! — подхватил племянник. — Дядюшкина стряпня ему очень понравилась, верно, дядюшка? Как сейчас помню, я тогда еще нашел бутылку «Жеврей-Шамбертена» семьдесят шестого года в какой-то лавочке неподалеку от Пале-Рояля. Прямо чудо. Как раз под ригатони. Верно, дядюшка?

Ответа не последовало.

— В том самом квартале я учился. Виноделие изучал. У меня там до сих пор осталась маленькая квартирка на Банковской улице. Туда-то мы и пригласили Дарио. Обожаю Париж!

— Ноги моей там больше не будет. Ездил туда в первый и последний раз, — сказал Манджини, держа пистолет в руке. — Я уж и забыл, как стреляют из этой штуки. Подумать только… война… пятьдесят лет назад… Хотя я и тогда нечасто этим пользовался, я был хороший солдат…

Я закрыл глаза.

— Но только этот плутишка Дарио ничего другого и не заслуживал. Полгода назад явился сюда, чтобы выкупить у меня землю. Тогда это меня здорово рассмешило… И только позже, когда он начал ходить вокруг да около той часовни и что-то там мудрить, вместо того чтобы разломать ее… когда начал расспрашивать всех подряд про Сант'Анджело… только тогда до меня дошло, что у него на уме. Ну и болваном же я оказался! Помню, я ему однажды даже сказал, что если он сумеет сделать хорошее вино, то это будет настоящее чудо. А он рассмеялся в ответ!

Портелья накалывает на свою вилку одну макаронину и сует ее мне под нос. Я не открываю рта, и он тычет ею в мои стиснутые губы. Манджини направляет на меня пистолет, и я приоткрываю рот.

— Сначала-то я принял его просто за дурака, но потом… Пусть синьор Польсинелли поставит себя на мое место. Ведь я на этой земле почти родился, а ничего такого никогда не замечал… И ведь надо же было случиться, чтобы эта дьявольская идея пришла в голову какому-то придурку, мальчишке парижанину… Я от этого даже спать ночами перестал.

Я жую, стараясь не принюхиваться. Совершенно никакого вкуса, даже вкуса соли. Зажмуриваюсь еще сильнее и выплевываю все прямо на стол.

— Я тогда ему сказал, что обо всем догадался, что его план мне очень нравится, но предупредил, что без меня ему не обойтись. Я даже дал ему время подумать. А потом

приехал в Париж, на один-единственный вечер — чтобы мы посидели за столом все втроем да потолковали. Он мне предложил десять процентов от выручки. Гроши, на это даже кофе себе не сваришь. И я его убил, потому что после его смерти все досталось бы его матери. А у нее-то я без труда выкупил бы весь участок и сам заставил бы Сант'Анджело вернуться…

Я по-прежнему не открываю глаз и стараюсь ничего не слышать. Но от пытки с вилкой никуда не деться.

…Начиная с зимы сорок четвертого нам уже приходилось есть что попало. Припоминаю даже один лесок, где мы продержались довольно долго, объедая с кустов малину. А однажды я нашел полным-полно черепах — мы их собирали прямо десятками. Поди знай, что это с ними было такое, но в этой стране я уже ничему не удивлялся. Я ко всему был готов. И я принялся за этих тварей с киркой, чтобы разбивать панцири. Из четырнадцати штук выходило грамм двести мяса. Но лучше всего были черепашьи яйца. Компаре сделал из них рагу, и очень даже неплохо получилось. Он вообще умудрялся готовить нам жратву из любой дряни, которую мы находили вокруг или воровали у крестьян с риском для собственной жизни. Из этих-то корок, одуванчиков, всяких огрызков и объедков он нам и стряпал, да так удачно, что мы все впятером (столько нас к тому времени оставалось) сообща решили, что он самый лучший повар на свете. Никто из нас даже не блевал ни разу с этих харчей, представляешь? Ладно, согласен, чаще всего, конечно, мы старались думать о чем-то другом, когда заглатывали все это, но все-таки он был настоящий кудесник. Был у него талант, что и говорить. А с его стороны это был единственный способ доставить мне удовольствие и хоть как-то отплатить за все те разы, когда я ему жизнь спасал, этому компаре.

— И тут вдруг нотариус объявляет, что прибыл новый владелец. Я себе чуть пальцы до крови не искусал. Как это понимать, я вас спрашиваю? Откуда он взялся, этот малый? Почти такой же, как Дарио. Может, чего-то в нем больше, может, чего-то меньше, не знаю. И я себе тогда сказал, конечно, что еще ничего не потеряно и что я еще успею выкупить у него землю раньше, чем он догадается. Но его ни деньгами, ни побоями было не пронять, и этот новый парижанин оказался еще упрямее, чем тот…

…Не буду тебя убеждать, что на Рождество сорок первого все мы еще твердо верили в Бога. Но у каждого в сердце все-таки оставалось что-то, у кого невеста, у кого ребенок, и вот этим-то существам нам бы и хотелось сказать, что мы их защищаем или спасаем… Ну да, будь я проклят… И вот четыре года спустя мы еще меньше, чем в начале, знаем, какого черта делаем здесь. К тому же на этот раз мы по-настоящему остались совсем без жратвы. В Бога мы больше не верили или, наоборот только в него еще и верили, потому что в тот самый раз, двадцать пятого декабря, нам довелось пережить такое, что, хочешь верь, хочешь нет, но только это можно назвать настоящим чудом. Да, чудо, по-другому я и сказать не могу. Мы тогда вдруг прознали, что в семи километрах от нашей дыры расположился фашистский гарнизон и у них там полным-полно продовольствия. Мы начали прикидывать между собой, кто пойдет. Хотя выбор был невелик: двое из нас не переносили холода, значит, оставались трусоватый малыш Роберто да компаре мой, про которого тоже нельзя было сказать, что он ему пример храбрости подавал. Вот и выходило, что в любом случае пошел бы я, потому что у меня уже всякое терпение лопнуло и я сам этого хотел. Компаре вздумал было меня удерживать, потому что боялся со мной разлучаться, но я ему твердо пообещал, что вернусь. Робертино дал мне свои башмаки, и я пошел. И вернулся. Но я тебе даже не смогу толком рассказать, как все это вышло, потому что я и сам об этом мало что помню… Я там с ними о чем-то говорил, прикидывался, что слушаю, все об Италии новости расспрашивал. Только плевать мне было на все это. Единственное, что у меня тогда на уме было, это их

продовольственный склад. Я у них поел, а они потешались над моим видом. А один из тех, кто был у них за старшего, сказал мне, что, если я хочу получить шанс вернуться домой, мне стоит только надеть их форму. Он даже возьмет меня в свое отделение. Я прикинулся дурачком, сказал, что это и до утра может потерпеть, а когда все завалились на боковую, я у них спер восемь кило макарон. Восемь… Тебе это говорит что-нибудь? Я положил свою добычу в ящик и потащил. Думал, что помру по дороге от усталости, но стоило мне вспомнить, что я должен уйти от них как можно дальше, как эта мысль, сам не знаю почему, придавала мне силы. И я в конце концов добрался до своих, которые все еще меня ждали. Они чуть не заревели, когда я показал им свое сокровище. Желтое, как золото. Я сейчас не смогу тебе объяснить, как это получилось, но когда я воровал эти макароны, я даже не видел, какие именно. Темно ведь было, хоть глаз выколи. И только утром до меня дошло, что на ближайшее время у нас не будет ничего другого, кроме восьми кило ригатони…

Пощечина, которую влепил мне Портелья, заставила меня вернуться к действительности. Они покончили со своей тарелкой. Манджини ковыряет в зубах, лениво развалившись в своем кресле. Портелья подливает себе вина и отхлебывает, довольно хмыкая.

— Да, славненькое чудо он нам устроил, этот синьор Польсинелли… Хорошая была идея с праздником Гонфаллоне. Но одну вещь я все равно никак понять не могу… этот слепец, Марчелло…

Они оба замирают, переглядываются, потом придвигаются ко мне.

— Вы ведь нам объясните, правда? — спросил племянник.

— Ну конечно, он нам расскажет, что случилось с этим слепым мерзавцем. Я ведь этого пьянчугу давно знаю. И сколько я его знаю, он всегда либо руку тянул, либо в грязи валялся. Так что нечего из меня дурачка делать с этой басней о чудесном исцелении…

…Чудесам, в конце концов, и полагается совершаться в ночь под Рождество. Но макароны, особенно когда в последний раз ты их ел больше года назад, будут почище любого чуда. Компаре нам клятвенно пообещал, что не только не испортит их, но ради праздника в лепешку расшибется и состряпает самое вкусное, что только возможно. Он собрал все, что у нас было лучшего, и тут же изобрел рецепт, куда вошли кукуруза, украденная в одном амбаре, мята и одуванчики. Настоящее объеденье. Хорошо бы к этому было добавить что-нибудь красное, помидоры например, но даже сам Господь Бог не смог бы это найти там, куда нас занесло. Так что компаре нам состряпал «ригатони по-албански».

Мы нарубили дров, чтобы развести жаркий огонь под горшком, а сами расселись вокруг, словно в кино, и мало-помалу запах соуса вскружил нам голову. Никогда я не нюхал ничего подобного за всю мою жизнь. Мне вдруг показалось, что желудок мой разверзся, словно пропасть, и я подумал, что все эти восемь кило макарон запросто могли бы там поместиться…

В этот раз Портелья расплющил мне кулаком нос. Внутри что-то хрустнуло и повлажнело.

История со слепым их явно раздражает. Для них это единственное темное место во всем фокусе, и наверняка Манджини с племянником не убьют меня, пока не дознаются, в чем тут дело. Кровь течет по моим губам, и я не знаю… не знаю…

Вдруг мои глаза наполняются слезами.

…После этого пиршества мы целый день валялись брюхом кверху, не сходя с места, не говоря ни слова, ожидая, пока все тело насладится без помех этим блаженством Ну, и как ты

думаешь, о чем все думали после такой голодухи? Конечно, об одном и том же… о вине… о красном вине. Но этого даже сам Господь Бог не смог бы раздобыть там, куда нас занесло. А просить два чуда подряд, это уж… Робертино неплохо помнил катехизис, и вот он нам оттуда читал наизусть про претворение хлеба и вина. Мы его особенно насчет вина просили повторить. А один из нас даже поклялся, что если только вернется домой, то займется виноделием, но никому ничего продавать не будет. Да вот только не вернулся он. Конечно, восемь кило ригатони оттянули конец. Уж мы их растягивали как могли. А компаре настолько приохотился к своему соусу, что нам так и не удалось его убедить придумать что-нибудь новенькое. Как бы там ни было, все мы ждали смерти. Мы думали о ней, как и все остальные солдаты… Только мы уже не были никакими солдатами… И вот что я тебе скажу, сынок, я уже заплатил и за тебя, и за твоего брата, и за тех сыновей, которые у вас будут, чтобы вам никогда не сидеть в таком дерьме…

Манджини больше не выдерживает. Мое молчание только распаляет его злобу. Зачем ему оставлять меня в живых?

— Тебе же не будет от этих денег никакого проку, Антонио… Иначе мне стало бы слишком обидно. И слишком больно. И сам посуди, как я могу выпустить тебя отсюда теперь, когда ты знаешь, что это я убил того дурака?

Я изо всех сил пытаюсь говорить.

Торговаться.

Отбиваться.

Но мне не удается даже открыть рот.

Боюсь, что меня ждет тот же конец, что и тебя, Дарио.

Наверное, я должен испытывать страх. Это было бы естественно.

Но ничего такого не происходит. И я не знаю почему.

— Вот досада… А я все-таки не прочь узнать, в чем там был подвох, в этой последней проделке Дарио… Как ему удалось вернуть зрение этому слепому… Это ведь была его идея, верно? Вы и впрямь друг на друга похожи…

Манджини берет меня за подбородок большим и указательным пальцами. Он сильно сжимает его и поворачивает мое лицо к свету, чтобы получше рассмотреть.

Голос его звучит мягче. В глазах даже появляется мимолетное выражение какой-то нежности.

— Антонио, ты… ты совсем как Дарио… Но еще больше ты похож на одного… другого… Впрочем, оно и неудивительно.

…В феврале умер Робертино, по дороге в Тирану, и мы с компаре опять остались вдвоем, как и в самом начале. Это была прямо загадка какая-то. Можно подумать, нас и смерть не брала, пока мы были вместе, но стоило нам расстаться хоть ненадолго, и мы тут же оказывались в смертельной опасности. Мы все шагали и шагали и думали о корабле. А потом однажды ночью заметили какой-то лагерь — огни, шум. Компаре хотел сразу же идти туда из последних сил, но я его не пустил, ведь мы даже не знали, кого там найдем — немцев, партизан, фашистов, друзей или врагов, так что лучше всего было дождаться утра. И я лег спать, сказав ему: «Доверься мне, дурень. До сих пор тебе это несчастья не приносило». А утром меня разбудили ударом сапога, представляешь?.. Фашисты… Вот уж повезло так повезло. Я сразу подумал, что мы с компаре вляпались в дерьмо еще глубже, чем накануне. Поднимаю глаза… и тут вижу этого придурка вместе с ними, уже во всем новеньком, в черном. Сначала я даже не совсем понял, спросонья-то, вылупил на него глаза и говорю: «Э… э… ты что, рехнулся? Только этого не хватало, нам же домой надо». Уж не знаю, что он им успел про

меня наплести, но только когда один из них вытащил пистолет и велел идти за ним, я кинулся бежать как угорелый. Тут-то пулю в ногу и получил. Боль от этой раны меня до сих пор донимает. А они, должно быть, решили, что прикончили меня, и никто не пошел проверить. Даже он…

У меня нет страха. Манджини продолжает стискивать мне лицо рукой. Он хватает свой пистолет и приставляет мне дуло к виску.

— Зачем ты впутался в это дело, Польсинелли? Я как только услыхал твое имя, словно назад вернулся… далеко назад… Я ведь знавал тогда одного Польсинелли…

Он глядит на меня еще пристальнее. Я не выдерживаю и закрываю глаза.

— Сам дьявол сыграл со мной эту шутку. Надо же, почти пятьдесят лет спустя… Я тогда засмеялся и стал тебя поджидать.

Его рука начинает подрагивать. Я зажмуриваюсь еще сильнее.

Когда раздался выстрел, я упал на землю, закричал и увидел…

Разбитое стекло.

Портелья валяется на полу, а Манджини неподвижно стоит, ухватившись руками за свой правый бок.

А снаружи, за окном, чей-то силуэт. Со мной — ничего.

Портелья вопит, дверь отворяется. Я жив. Манджини, качнувшись раз-другой, приваливается к столу и упирается в него лбом.

Я и не думал никогда, что умру.

Он входит. Манджини приподнимает голову. Мне хорошо. Все хорошо.

На пороге мой отец.

Он здесь.

Портелья ползет ко мне и скулит. Я и не боялся никогда.

Узнаю прихрамывающую отцову походку. Он подходит к Манджини, перезаряжает ружье и приставляет ствол к его затылку.

…Я все думал о компаре и спрашивал сам себя: что это на него такое нашло? Ведь нам с ним вдвоем всегда удавалось выкручиваться без всякой посторонней помощи, без армии, без начальства — с одним только желанием вернуться домой, засевшим в башке. Пока мы оставались вдвоем, нам удавалось избежать самого худшего, и мы предпочитали скорее уж остаться нагишом, чем напялить на себя черную рубашку… или красную, или хаки, один черт. Надо же. С таким трудом увернуться от всех этих глупостей и так вляпаться перед самым концом. И как он только сможет жить с этим, когда вернется? Мне его даже жалко было, ей-богу.

Он даже не взглянул на меня. Сейчас его занимал только Манджини. Они смотрели друг на друга и переговаривались глазами о чем-то таком, что меня не касалось; и это заняло какое-то время.

Два старика.

Где-то далеко-далеко…

За сорок пять лет отсюда.

Им было что сказать друг другу взглядом.

Обоим.

— Возвращаемся?

Хоть это и походило на вопрос, с его стороны это было предложение. Предложение, от которого нельзя отказаться. Еще одно, но последнее.

В поезде мы много не разговаривали, старик больше предпочитал отмалчиваться. Так он и сидел часами — пялился в окно, покуда не стемнело уже где-то неподалеку от Пизы. Я все искал глазами наклонную башню, но он сказал, что зря стараюсь. Я сделал все возможное, чтобы убедить его лететь самолетом. Всего-то один час лету. Учитывая его возраст, мне это казалось хорошей идеей. Но не ему.

Он настоял, чтобы мы остались в Соре еще на три дня, чтобы окончательно убедиться, что никогда больше не услышим об этой истории. Когда мы покинули дом Манджини, Портелья вызвал «скорую помощь». Мы встретили машину по дороге. Месса уже подходила к концу. Сант'Анджело стал, таким образом, официальным святым, а его вино — священным нектаром. Люди из Ватикана ждали меня на дороге, у поворота. Я принял их условия по всем пунктам, и начиная с этого момента мы с отцом отдавались под их покровительство. «Кадиллаки» сразу вдруг куда-то исчезли, и больше о них в Соре не было ни слуху ни духу. Меня это даже смутило.

Манджини оклемался, мы узнали об этом в городке уже на следующий день. Не знаю, правда, как он объяснил врачам эту пулю у себя меж ребер. Сослался, наверное, на несчастный случай. Впрочем, если бы он отправился прямиком на тот свет, жители Соры и этому смогли бы подыскать объяснение. Я, со своей стороны, уверен, что старый Чезаре вполне мог целить своему компаре прямо в сердце. Но, может быть, он всего лишь собирался чуть-чуть подсократить ему жизнь. Или не захотел прикончить его на моих глазах. Наверняка найдутся и другие гипотезы. Может, он рассудил, что нелепо убивать человека после того, как четыре долгих года ухитрялся этого избегать.

Сам я не в состоянии догадаться, какой немой уговор заключили эти два старика. И наверняка так никогда и не узнаю, кто из них больше хотел видеть другого мертвым.

Все-таки мой отец может похвастаться, что имеет настоящих друзей. Двоих по крайней мере. Вместе с одним из них он лечится в санатории, и они раньше встречались каждое лето. Друг в этом году, правда, удовлетворился тем, что посылал из Перос-Гирека чистые открытки, которые отец отсылал ему обратно уже заполненными надлежащим образом. А мы их получали надлежащим образом проштемпелеванными перос-гирекской почтой. Другой, некто Мимино из Соры, друг детства, приютил его у себя и снабжал информацией по мере надобности, не задавая лишних вопросов. Отец как раз готовил свидание с Манджини, когда туда нежданно-негаданно прикатил я сам. И ему пришлось отложить встречу, чтобы выяснить, какого черта я тут делаю. Все это время он редко покидал свое укрытие, да и то по ночам, точнее, однажды ночью, той самой, когда Марчелло во всем признался. Мне не было никакой нужды спрашивать у него, кто тогда оглушил Портелью, а немного погодя затащил меня в часовню. Настырный у меня старикан. Откуда только что берется, когда приходится спасать своих отпрысков. Неудивительно, что при таком запасе жизненных сил он умудрился уцелеть даже в очень вредные для здоровья времена.

На самом деле меня интересовал всего лишь один по-настоящему важный для меня вопрос, но я был уверен, что именно на него и не получу ответа. Потому что ответить на него означало вызвать тысячу новых вопросов, а меня все это, как я опять-таки подумал, вовсе не касалось. Я сам отвечал на свои вопросы, и, похоже, мне и в дальнейшем придется удовольствоваться тем же. Причем о том, что на самом деле происходило в его голове, я волен домысливать и фантазировать сколько угодно.

Я теперь лучше стал понимать, почему мой старик, сколько я его помню, и слышать не хотел ни о каких ригатони. Вечером после похорон Дарио, когда я перечислил ему все составляющие того «албанского» блюда, он сразу догадался, кто мог его состряпать. Так же

и насчет земли, которую приобрел Дарио. Отец, похоже, всегда знал, кто был ее владельцем. Так что для полной уверенности ему оставалось лишь совместить оба этих факта. И он тотчас же уехал в Сору, даже не поставив нас в известность.

Быть может, именно потому, что спустя сорок пять лет Манджини оказался не только еще жив, но и способен убить мальчишку моего возраста, уголек, погребенный под толщей пепла, разгорелся вновь. Возможно, отец подумал, что этим мальчишкой вполне мог бы оказаться я. А может, причина его поступка была гораздо более эгоистичной, чем я себе воображаю, может, он просто рад был свести счеты со своим прошлым. А может, он решил, что ему больше нечего терять, и почувствовал вдруг, что это, быть может, вообще последнее его путешествие. В одиночку, во всяком случае. Его последний побег. Быть может, он хотел потешить себя не только этим. Безмятежный конец. Наивысшее успокоение. Окончательное завершение той дурацкой войны. А заодно выяснить, наконец, почему его товарищ по несчастьям предал его в последний момент. И заставить вернуть себе старый должок, прежде чем со всем распрощаться окончательно.

Почему он не дал мне о себе знать, когда я заявился в Сору? Возможно, он решил, что нечего смешивать наши истории. Ведь Дарио был моим приятелем, как Манджини — его. А может быть, все наоборот, и он знал наверняка, что обе наши истории пересекутся рано или поздно. Может, он сказал себе, что сын сам должен пройти свой путь и сам должен научиться защищать свою собственность и выполнять свои обязательства. И особенно — не предавать память друга.

Но у последней черты он подумал, наверное, что такому старику, как он, должно быть точно известно, когда пора вмешаться и не позволить мальчишке сгореть, если тот затеял игру с огнем.

Быть может, так оно все и было.

Мне захотелось пригласить его в вагон-ресторан. Он достал свои бутерброды. Мы поговорили о деньгах. Он спросил меня, что я собираюсь делать с этой кучей лир.

— Деньги-то? Не знаю. Но если у тебя есть какие-то соображения…

— Это твое барахло. Ты его хотел, ты его и заработал. Сам-то как теперь считаешь, дело чистое? — Он помедлил немного, потом спросил: — Хочешь быть богатым?

— Хм… даже не знаю.

— А я хочу.

Мы молчали довольно долго, позволив поезду убаюкивать себя, пока я наконец не отважился:

— И чего же ты хочешь?

— Новые зубы, лучше этих, чтобы сидели во рту как следует. Санаторий два раза в год. Собаку. И потом… Да и все потом.

*

Он поехал в Витри один — будто возвращался из Бретани, а я вернулся в Париж.

Да, Париж… Наверное, я должен был бы радоваться. После всех этих отъездов — наконец возвращение. Перевести дух после гонки. Я так измотался, участвуя в этой волшебной сказке — единственной сказке, которая по-настоящему восхитила бы меня в моем детстве. По мере того как я все глубже проникал в землю этой страны, что-то во мне оживало вопреки моему желанию. Потому что это «что-то» и прежде существовало во мне. Нечто среднее между греческой трагедией и комедией по-итальянски. Причем даже не понимаешь толком, в каком именно жанре ты оказался: то ли это драма, где ты давишься от

смеха, то ли это клоунада со странным душком. А все вместе — ни надгробный плач, ни басня, ни проповедь. Какая-то беспорядочная ода, громогласная поэма, воспевающая бессмыслицу перед лицом здравого смысла, какое-то видение по ту сторону и счастья, и несчастья.

…Возвращение? Я повстречал на своем пути чету албанцев. Мы были в тридцати километрах от Тираны. Они подлечили мне ногу как смогли. Я начал хромать, и прохромал потом всю свою жизнь, но тогда я все-таки смог идти. Они дали мне денег, и с ними я добрался до порта. А там, хочешь верь, хочешь нет, был всего лишь один рейс на Италию, раз в месяц, и я со своим неизменным везением, конечно же, его упустил, опоздав всего часа на два. Я устроился спать в доках, повстречал таких же оборванцев, как и я сам, которые тоже едва выбрались из дерьма, и мы проторчали там целый месяц. А потом нас высадили в Неаполе, и там уже было полным-полно этих американцев. Мне показалось стыдно возвращаться домой в таком виде, почти голышом и завшивевшим, как бродяга. Я свел знакомство с одним неаполитанцем, который сбывал американцам поддельные духи. Пробка-то у них пахла неплохо, но вот флаконы он заливал мочой. Я тогда сделал вид, будто покупаю целых три штуки, и спрос на них сразу вырос. Реклама, одно слово. Вот он меня и нанял, чтобы я проделывал этот трюк каждый раз. На эти гроши я отмылся и приоделся, купил билет на поезд и поехал домой. Это после четырех лет отсутствия. Я был чистый, и от меня хорошо пахло. Моей невесте это понравилось…

Мне сразу же стало не хватать Бьянки, едва я открыл дверь своей студии. И похоже, это не скоро пройдет. Мне будет не хватать ее наивного кокетства, будет не хватать ее взгляда на жизнь. Ее веселости, ее стоптанных туфель, ее благопристойных платьев, ее лака на ногтях, ее сказок и легенд, ее румян, ее католических мечтаний, ее нежности, ее томатного соуса и ее юмора — немного не от мира сего. Мне бы хотелось, чтобы кто-то из местных парней открыл в ней однажды все эти сокровища, но не похитил их у нее. Мы с ней поклялись друг другу, что отныне станем праздновать свой день рождения одновременно. Ну, это обещание легко сдержать. Это единственный приемлемый способ, который мы нашли, чтобы состариться вместе.

Чтобы забыть поскорее свое печальное возвращение, мне захотелось вдруг попотчевать себя какими-нибудь дорогостоящими удовольствиями, окунуться с головой в шикарные излишества. Требовалась подходящая идея. И час спустя я уже был на другом конце улицы, «У Омара», собираясь вовсю угоститься великолепным кускусом, ради смены обстановки.

На следующий день я поехал навестить родителей, и мы с моим стариком очень убедительно ломали комедию, изображая сердечную встречу после долгой разлуки. Когда я поведал матери о чуде, случившемся в нашем городке, на нее прямо благодать снизошла. Я достал бутылку нашего вина. Она истово себя им перекрестила и пила до тех пор, пока голова не закружилась. Пришли и остальные. Джованни-старший, потом Клара, Анна и Иоланда, три моих сестренки. Я всем повыписывал чеки, чтобы поскорее избавиться от этих денег. Заглянула к нам и мамаша Тренгони. Мы поговорили о винограднике, о чуде, а когда я вытащил пачки банкнот, она, не поняв, в чем дело, до смерти перепугалась. Я предоставил родителям растолковать ей, что к чему, и заставить принять деньги. А заодно убедить ее перебраться жить в какое-нибудь более приличное место. Может, даже в Сору.

Прямо напротив, словно гриб из земли, растет дом Освальдо. Какая скорость! Какая сила! Какое желание увидеть крышу над своей головой! И это за один только месяц. В одиночку. Он помахал мне рукой из окна — гордый и спокойный.

Как бы там ни было, я почувствовал, что отец сегодня серьезнее, чем обычно. Даже не захотел вставать из-за стола до самого вечера, и это он, который раньше терпеть не мог

сидеть взаперти больше одного часа. Моя мать и мать Дарио слушали меня не отрываясь, желая узнать как можно больше подробностей о самом чуде и о прозрении Марчелло. В конце концов они на полном серьезе принялись обсуждать свое паломничество к святому месту. Когда мы на короткий миг остались со стариком наедине, я воспользовался случаем и спросил:

— Что-то не в порядке?

— Моя нога.

Оно и неудивительно. В этом году он лишил себя санатория, а ведь только там он оставлял на время свою боль — единственное воспоминание о войне, от которого ему так и не удалось избавиться.

— Болит?

Он воздел руки к небу и проворчал:

— Нет. Что меня и беспокоит.

Вернулась мать и, сияя, объявила:

— Этот санаторий и впрямь идет ему на пользу. Я все меньше и меньше понимаю, что происходит. Старик поднимается.

И тут я в первый раз за свою жизнь вижу, что он не хромает. Он прошелся взад-вперед, переступая с ноги на ногу легко, словно Фред Астер, и сказал:

— Настоящее чудо этот санаторий.

*

Входя во двор своего дома, я забавлялся, строя планы насчет того, как распорядиться оставшейся суммой. Я подумывал о бессрочном отпуске. Включая свет на своей лестничной площадке, я представлял себе какое-то нескончаемое путешествие, шикарные гостиницы. Поднимаясь в лифте, я рисовал в воображении кучу всяких сногсшибательных мелочей и, только повернув ключ в своей двери, услышал чьи-то тяжелые шаги, приближающиеся со стороны черной лестницы.

Лицо совершенно незнакомое. Инстинкт сразу же подсказал мне, что это по мою душу.

Он подошел ближе. Еще ближе, совсем близко, даже чересчур.

И тут что-то произошло в моем мозгу. Что-то вроде столкновения на перекрестке, столкновения между проходящим удивлением и газующим на полной скорости страхом. Промелькнула мысль, что я еще успею сказать что-нибудь, попробую договориться, попробую показать свои пустые руки, пожаловаться на смертельную усталость, попытаюсь положиться на его здравый смысл и успею еще отдышаться как следует, пока все опять не полетело кувырком.

Но его рука слишком уж быстро нырнула в карман плаща. Моя же собственная тем временем теребила замок. Дверь отказывалась открываться.

Я сделал плавный жест в его сторону. Словно просил его обождать немного.

Обождать, чтобы попытаться разобраться, пока это еще не случилось. Буквально один ничтожный миг. Мне захотелось сказать ему, что торопиться, в сущности, некуда. У нас полным-полно времени… чтобы объяснить мне, откуда он взялся на мою голову и кто его послал. Просто так, любопытства ради.

Кому еще понадобилась моя шкура?

Только тут до меня дошло, что это никогда не кончится. Что все зашло слишком далеко, чтобы кончиться просто так, на пороге моего дома. Что после этого моего путешествия еще осталось достаточно и злости, и мести, и безумия, чтобы снова накрыть на стол.

Какое-то мгновение он казался удивленным, потом не спеша вытащил свой револьвер, снабженный глушителем.

Опять за старое? Самое вкусненькое приберегли напоследок. Тем хуже. Я ведь действительно собирался его предупредить. Да, да, предупредить, сказать ему, что была не была, но я готов просить добавки.

Он взвел курок, и я бросился на землю. Потом устремился к лестничной клетке. Пуля просвистела у меня над головой, а я все карабкался по ступеням, почти ползком. Он метнулся вслед за мной. Где-то вдалеке открылась дверь. Он повернул голову на звук.

И в эту короткую долю секунды ко мне вернулся голод и принялся терзать мои внутренности. Волчий голод. Голод, заставляющий заглотить целиком весь этот ужас, всю эту ненависть… иссушающая жажда красного, красной плоти, желание пожрать все, что движется, после слишком долгого поста, после воздержания и сожалений — сожалений, что вытерпел чересчур много угроз, и обещаний смерти, и страха, который в меня впрыскивали обжигающими дозами… В общем, я не смог больше сдерживать проснувшийся во мне чудовищный аппетит к жестокости.

И все это в течение той доли секунды, что он замешкался.

Я еще успел закричать, прежде чем бросился на него. Мы упали на пол. Лампочка погасла. Я получил по макушке черепа удар рукояткой, но ничего не почувствовал. Я хочу сожрать его целиком прямо сейчас и, пока он не успел очухаться, выталкиваю его на лестницу. Он катится по ступенькам, я прижимаюсь к нему, револьвер стреляет в воздух рядом с моим ртом, я впиваюсь зубами в его запястье, закрыв глаза, кусаю изо всех сил, он взвывает от боли, выпускает оружие. Но этого мне недостаточно.

Не разжимая зубов, я схватил револьвер и далеко отшвырнул его. Только почувствовав, что мой язык увлажняется от крови, я разжал зубы. Он неловко поднялся, чтобы убежать в темноту, на нижние этажи, но я не могу допустить, чтобы он от меня улизнул. Я нагнал его, нырнув вниз на глубину целого этажа. Пир еще не окончен.

Я его всего искромсал, нарезал ломтиками и настрогал полосками, и не остановился до тех пор, пока на нем еще оставались живые места.

— К столу! — орал я, истекая слюной. — Прошу к столу!

Он еще нашел в себе силы вопить и молить о пощаде. Крики, отбивающие аппетит. Я наконец пришел в себя, почти пресытившись.

— Пощадите! Умоляю! Пощадите!

Эти слова как-то странно прозвучали в моих ушах. Когда он увидел, что я поднимаюсь, все его тело обмякло, как неживое. Его живот конвульсивно вздымался и опадал. Он обрел наконец дар речи.

— Остановитесь… не то я сейчас сдохну… А мне даже не сказали…

— Чего не сказали?

— Что придется иметь дело с психом… вот чего. Там, на улице, я в вас ничего такого не заметил, вот и не поостерегся. Еще, помню, сказал себе: подумаешь, жиголо… одни улыбочки да хорошие манеры… а нарвался… прямо на людоеда какого-то…

Я уселся на ступеньках, пригвожденный к месту любопытством. Что-то от меня ускользает… Я опять попытался собрать в памяти всю эту ненасытную свору, каждый из которых хотел отхватить свой кусок пирога.

— Парини?

— Э?..

— Манджини?

— Не знаю.

— А Сору знаешь?

— Первый раз про эту бабу слышу.

Что-то тут не стыкуется. Как-то все это начинает всерьез затягиваться туманом.

— Это не ты случайно пытался меня укокошить с террасы напротив?

— Метров тридцать — тридцать пять как минимум, ближе нельзя было подобраться… Я вас тогда, как дурак, прошляпил… Теперь вот попытался в упор, да сам подыхаю… Слушайте, а к вам нельзя зайти, бинтика у вас не найдется? И чего-нибудь… дезинфицирующего?

— Тебе платят в лирах или в долларах? Отвечай, паскуда!

— Э… слушайте, может, хватит меня шпынять? Во франках мне платят, во франках! И все теперь на больницу уйдет…

— Ты что, издеваешься надо мной?

— Помилуйте! Спрашивайте что хотите, я все скажу, во всем признаюсь, я даже легавым пойду сдамся, только вы это… не сердитесь!

— Кто тебе заплатил?

— Не знаю. У нас обычно того, на кого горбатишься, в рожу не знаешь. Просто мне передали, что надо, мол, убрать одного итальянчика, который ошивается в кабаке на улице Георга Пятого и у которого завелись шуры-муры с одной порядочной… из самых верхов. Я за ней проследил — она вас забрала из того самого кабака, и вы вместе поехали к ней на квартиру на улице Виктора Гюго. Потом вы вернулись к себе, а я заприметил ту терраску. Начало было неплохое, я и сказал себе: а почему бы не шлепнуть его прямо сейчас, пока он еще тепленький?

— А потом?

— А потом вы куда-то подевались. Ну, я и стал ждать вашего возвращения. Договор-то ведь еще в силе. То есть я хочу сказать… был в силе…

Лампочка на лестничной площадке все время мигает. На этаже ни души. Ни единого звука, ни одного любопытного взгляда. Я бы мог сейчас преспокойно расчленить этого малого и спустить останки в мусоропровод. Никто бы ничего и не заметил.

Как-то все это уже успело выветриться у меня из памяти. А ведь именно из-за этого глушителя я и сбежал из Франции. Я-то думал, что все уже кончено. Пора убираться отсюда. Опять в бега, значит. Засовываю пистолет за пояс. И зачем только я тогда взялся за это письмо?

— Есть у тебя машина?

— Хм… Да… Пятьсот четыре, «кабриолет», синяя. Подойдет?

Мы выходим. Его машина через две улицы от дома.

— Кстати, о контракте. Я со своей стороны его расторгаю и плачу неустойку. Если найдутся другие, которым шкура не дорога, это их дело… Мы куда?

— Ты никуда.

Я протягиваю руку. Он кладет в нее ключи. И не спрашивает, где ему повезет вновь найти свою машину.

Я трогаю и выезжаю на Риволи.

*

Клуб «Up» едва приоткрывает дверь, чтобы впустить мою персону. Меня тут узнают, хозяин мне улыбается.

— Так ти подумаешь, ragazzo? Искатти работта?

— Я хочу видеть мадам Рафаэль. Сию же минуту.

— Calma. Calma, ragazzo. За кого ты себя берешь?

Я хватаю его за галстук и волоку в тот самый закуток, где однажды провел не самую приятную четверть часа. Но с тех пор произошло столько событии. Вытаскиваю свое оружие и прижимаю глушитель к его горлу. Громилы сразу заволновались, но хозяин просит их не двигаться с места. А сам хватается за телефон.

— Куда вы звоните?

— К ней.

— На ту квартиру?

— Нет, домой, к мужу. У нас есть свой код.

Она сама снимает трубку. Хозяин клуба говорит ей одно-единственное слово и нажимает на рычаг.

— Приедет, — сообщает он. — Немного терпения, ragazzo… У нее сейчас неприятности.

— Пусть сначала займется моими.

— А ты не мог бы подождать снаружи? Нет? На клиентов это производит плохое впечатление.

Она явилась спустя четверть часа. Нам освободили утолок в отдалении, наискосок от сцены. Заметно было, что дама не успела приготовиться. Почти без макияжа. Никаких духов. Лишь немного драгоценностей. Я не оставил ей времени притвориться напуганной.

— Кто пытается меня убить?

— О чем вы говорите?

Я уточняю. Она даже не пытается разыграть удивление. Ее глаза выдают тоску и глубокую усталость. Она коротко и нервно затягивается сигаретой, просит принести стаканчик чего-нибудь. Нас настигает голос микрофонного певца.

— Больше это не повторится, клянусь вам, Антонио.

Чувствую, как она мягко ускользает от меня. Словно забывает о моем присутствии ради этого шептуна на сцене.

— Знаете, я и не подозревала, что он все еще любит меня до такой степени.

— Да кто он такой, черт бы его побрал!

Она умолкает. Вид отсутствующий. И двух минут не прошло, а она уже словно испарилась. Несмотря на абсурдность ситуации, я все же соображаю, что не в силах тягаться с душещипательной жалобой молодого итальяшки у микрофона. А тот знай себе тянет: «Ti amo, ti amo, ti amo…» со страстью и пылом.

— Мой муж.

У меня вырывается короткий злой смешок. Скорее от удивления, чем от презрения. Но она уже меня не слушает. Ей не хватает Дарио, и это ощущается во всем — в каждом движении сцепленных рук, в каждой морщинке лица, в каждом взмахе ресниц.

— Он нанял человека, чтобы следить за мной. Давно, уже несколько месяцев назад. Когда мы с вами расстались, я еще об этом не знала, клянусь вам.

Ей принесли еще один стакан. С того места, где мы сидим, певца нельзя увидеть, но она все равно пыталась — тысячу раз.

— Несколько лет тому назад он мне сказал, что, если я ему изменю, он наймет кого-нибудь, чтобы убить моего любовника. Знаете, он так боялся меня потерять…

Я какое-то время сижу дурак дураком, пытаясь понять, что она мне только что сказала. Потом хватаю ее за руку и с силой встряхиваю, чтобы обратить, наконец, на себя ее внимание.

— А я-то тут при чем?..

— Ни при чем… почти. Просто мой муж узнал, что у меня кто-то есть, и сначала даже не пытался мне помешать. Да он и не мог, впрочем. А когда Дарио умер, я ему поклялась, что никогда больше его не обману. Но он, оказывается, не отменил слежку за мной и, когда мы с вами встретились, тут же вообразил, будто я нарушила свое обещание. Поставьте себя на его место… Снова узнать, что я в чьих-то объятиях…

— В чьих объятиях? Опять какого-нибудь итальянчика? Какого-нибудь Дарио?

— Почему бы и нет?

Ну да, действительно, почему бы и нет, в конце-то концов. Ведь впутался я каким-то образом в его мечты, да и чем его простыни хуже? И когда только этот мерзавец оставит меня в покое…

— Забавно… Только я чуть от этого не загнулся.

— Вы больше ничем не рискуете. Я немедленно ему все объясню. Немедленно. Я очень сожалею, Антуан.

Мы услышали аплодисменты. Она опять завертела головой, чтобы попытаться разглядеть певца, а я воспользовался передышкой, чтобы улизнуть. Уверен, что она этого даже не заметила.

Как только я очутился на улице, ко мне вновь вернулось хладнокровие. Я задался вопросом: а не лучше ли будет пропустить эту ночь, прежде чем вернуться к себе в студию?

На противоположной стороне я заметил швейцара гостиницы «Георг V», стоящего у вращающейся двери. Это зрелище напомнило мне времена, когда мой брат работал трубочистом и занимался всеми каминами этого престижного заведения. Он нам обо всем рассказывал — о звездах, об их свите, о прихлебателях, о местных халдеях, о номерах-люкс и обо всем таком прочем. Прямо сказка, да и только.

Самое время проверить, соответствует ли она действительности.

*

На следующий день за завтраком я завязал знакомство с одним пожилым господином, который скучал, дожидаясь, пока спустится его жена. Ему хотелось с кем-нибудь поболтать, и он пригласил меня за свой столик. Он заметил, что я отказался от кофе, как только бросил взгляд на чашку.

— Вы ведь, конечно, итальянец по происхождению?

— Да.

— Тогда вы, наверное, умеете готовить лапшу.

Такой несколько неожиданный поворот заставил меня улыбнуться.

— Лапшу — нет. Только макароны.

— Пусть будут макароны, если вам угодно. Значит, вы умеете их готовить?

— Конечно, да. Но макароны — это не просто добавка к соусу. Это нечто гораздо большее.

— Вот как?

— Они изначально представляют собой настоящую вселенную, всех превращений которой не подозревает даже самый утонченный гурман. Любопытное отображение чего-то нейтрального и в то же время чрезвычайно замысловатого. Целая геометрия прямых и кривых линий, полнот и пустот, которые могут варьироваться до бесконечности. Наивысшее проявление формы. Подлинное ее царство, в котором именно форма обусловливает вкус.

Иначе как объяснить, что одна и та же смесь муки и воды может вызвать отвращение или блаженство в зависимости от того, какую форму она примет. Только здесь замечаешь, что у круглого один вкус, у длинного или короткого другой, а у плоского и трубчатого третий. Наверняка тут имеется что-то, похожее на любовь, что-то… как говорится… «на почве страсти»…

— На почве страсти?

— Ну да. Именно потому, что сама жизнь противоречива и многообразна, она создает такое обилие макаронных форм. И каждая из них готова рассказать какую-нибудь историю. Съесть тарелку спагетти — это все равно что вообразить себе растерянность человека, попавшего в лабиринт, погруженного в энтропию недоступной пониманию головоломки. Ему понадобится терпенье и некоторая сноровка, чтобы разобраться с этим до конца. А посмотрите, как приготовлена лазанья! Снаружи взгляду доступен лишь самый верхний слой, корка. Но наш индивид желает добраться до сути, до глубинных пластов, потому что уверен, что там от него что-то скрывают. Но прежде чем убедиться, что внутри содержится не больше, чем снаружи, он будет искать, теряться, прокопает длинный темный тоннель… не будучи уверен до самого конца, найдет ли вообще что-нибудь. Нет ничего более пустого и в то же время более таинственного, чем обыкновенная макаронина. Зато равиоли, наоборот, всегда что-нибудь в себе скрывают, причем наверняка никогда не знаешь, что именно. Это загадка в ларце, который никогда не открывается, запертый сундучок, который вечно интригует нашего исследователя своим таинственным содержимым. Знаете, некоторые утверждают, будто эти равиоли раньше предназначались для мореходов. Заворачивали кусочки мяса и прочую требуху в тонкие полоски теста, надеясь, что моряки не очень-то будут стараться выяснить, что они такое едят.

— Неужели правда? А что же тогда должны напоминать тортеллини? Кольцо? Перстень?

— Почему не круг? Просто круг. История без конца. Или петля. Замкнуться. Уйти. И непременно вернуться. Туда, откуда ушел.

Примечания

1

Черт возьми! (итал.).

2

Дословно «телок» — молодой балбес, бездельник (итал.).

3

Уроки (итал.).

4

Матерь скорбящая (лат.).

5

На этой дерьмовой улице… (итал.).

6

Толстые или тонкие? (итал.).

7

Люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя… (итал.).

8

Красавица… (итал.).

9

Волшебный лес из легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола.

10

Дом (итал.).

11

Рим, конечная (итал.).

12

Десять минут, десять минут, не толкайтесь! (итал.).

13

Иди в задницу (итал.).

14

Огонь (итал.).

15

Положи обратно, кретин… (англ.).
